



Песни нашего барака

*Чувство собственного
достоинства —
Вот загадочный инструмент:
Созидается он столетиями,
А утрачивается в момент...
Булат Окуджава*

А когда я вернулся в барак, на меня буквально набросились несколько «портных» и стали кричать: «Что, зажрался? На Муну захотел нас всех отправить? Подумаешь, съездили по морде майору. Пусть не зевает и не подводит всех».

Я слушал и почему-то вспоминал, как еще на острове Свинемюнде во время нашей голодовки немецкий капитан спросил меня, какую работу я бы все-таки хотел выполнять.

Я ответил, что на этом объекте я не буду делать ничего — так велит мне честь офицера.

Капитан тогда отдал мне честь и в присутствии немецких солдат сказал: «Таким должен быть каждый солдат!»

Я был в этом смысле далеко не исключением. Уверен, тысячи солдат и офицеров, оказавшихся в плену, вели себя достойно, даже если это было связано с риском для жизни. Помню одного армянина, который хорошо говорил по-немецки — он ответил немцам той же фразой, что и я. Но позже от своего земляка капитана Кулиева я узнал, что этот офицер-армянин совершил еще один поразительный поступок. Он предпочел смерть в плену возвращению на родину, в

Азербайджан, чтобы не сломать судьбу своему отцу — большому начальнику в системе НКВД.

На фоне мужества пленных офицеров трусливыми и жалкими показались мне тогда и кажутся по сей день упреки людишек, готовых есть хлеб вместе с немецкими плевками.

В тот миг я не мог смотреть в их перекошенные от страха и ненависти ко мне лица и вышел из барака. Неподалеку была выкопанная нами щель-бомбоубежище. (Почти каждую ночь англо-американская авиация бомбила Нюрнберг и его окрестности. Бомбы частенько падали на территорию лагеря.) Здесь я стал думать: а стоило мне идти на рожон? Вспомнились предатели — старшина Николай Черкасов, майор Шифранович, Аудринг. Но в эту минуту ко мне щель спустился сапожник Григорий Иванович и начал уговаривать меня не обижаться на ребят. Они, мол, раскаиваются, просят прощения. Ты же, Люциан, должен понять, каково им было «на кабеле».

Я все понимал, но ведь и сыты они были где-то моими стараниями, и не за себя я схватился с унтером. Все же пришлось помириться.

Иногда к нам в барак с проверкой заходил обер-фельдфебель, которого мы звали «собачья голова», из-за того, что он, зная о нашей «подпольной» деятельности (у нас все инструменты и украденные материалы хранились в пропилах под полом), подходил к бараку и начинал лаять по-собачьи. Так он давал нам время убрать все в тайники, затем входил и делал вид, будто он что-то ищет. При этом шутиливо крутил пальцем у виска и говорил: «Немец дурак».

Такие «дурацкие» игры имели свою логику: многие немцы уже понимали, что конец необратим. Поэтому те, на ком была большая кровь, еще больше свирепели, а значительная часть наоборот, не веря в чудо-оружие, обещанное Гитлером, спешила загладить свою вину, найти общий язык со своими жертвами.

На следующий после скандала в мастерской день унтер подошел ко мне и сказал полушутя: «Люциан, я считаю, тебе здесь душно, походи, поработай на свежем воздухе». Ясно, что ему было необходимо наказать меня и поддержать свой авторитет перед остальными работниками мастерской. Но я своего авторитета тоже ронять не хотел и сказал: «Охотно поработаю там, где тобой не пахнет!»

....Наступал 1945 год. Деда Мороза мы сделали из множества разноцветных кусочков от плащей испанской голубой дивизии, красные штаны французских полицаев, румынские, венгерские шинели и мундиры.

Капитан-интендант пришел с незнакомым нам обер-лейтенантом и с восторгом стал демонстрировать гостю нашего Деда Мороза. Но незнакомый офицер оказался человеком более тонкого ума — он сразу раскусил в нашем «дедушке» некую издевку над армиями, воевавшими на стороне Германии, а над ней самой — тем более. Капитан начал поздравительную речь, в которой войну назвал дерьмом, мешающим людям спокойно жить. Посетовал на то, что у него закрыли торговлю, забрали на фронт все личные автомашины, и пожелал нам всем окончания этой бойни и скорейшего возвращения домой. А затем попросил нас спеть песню про Стеньку Разина. «Волга, Волга, мутер-Волга!», которую мы нередко пели во время работы.

Спели. Немцам понравилось.

Вообще я должен сказать, что помимо известных песен, которые мы пели, чтобы хоть чуть-чуть скрасить тяготы неволи, в лагерях существовал и развивался свой фольклор.

Недавно я узнал, что еще в 1998 году под эгидой общества «Мемориал» вышла книга «Преодоление рабства. Фольклор и язык оstarбайтеров. 1942 — 1944». Она появилась благодаря увлечению одного немецкого офицера, в годы войны занимавшегося цензурой почтовых открыток, которые отправляли на родину рабочие, угнанные на работу в Германию. Читая открытки, он заинтересовался песнями, которые сочинялись в то время людьми, оказавшимися вдали от родины не по своей воле. Свое собрание песен немец отправил во Фрайбургский архив народной песни. Известный фольклорист Кирилл Чистов, сам бывший узник немецких концлагерей, написал предисловие к книге, в которую вошли очень интересные сочинения неизвестных авторов. Вот, например, какие слова были написаны где-то в фашистском лагере на мотив песни «Раскинулось море широко»:

*Сидим мы в бараках в колючем дроту,
Мечтаем мы только о воле,
А мимо проходит германский народ
И смотрит с каким-то укором.
Как будто для них мы есть злые враги,
Разбойники, плуты и воры,
А в самом-то деле мы честный народ,
Мы присланы трудиться в неволе...
Мы просим народа: не мучайте нас,
Быть может, случится и с вами,
Сегодня вы власти, а завтра — ничто,
Так будьте поласковой с нами.*

Дядя Саша когда-то пел мне известную песню сталинских лагерей «Далеко от Колымского края». Советские военнопленные, выходцы с Украины, оказавшиеся во время войны во Франции, переложили ее на свой манер:

*Из Французского дальнего краю
Шлю тебе я, родная, привет!
Як живешь ты, голубка родная,
Напиши поскорее ответ.*

Сегодня мне смешно вспоминать, что и я вложил свою лепту в народное лагерное творчество. После войны я много учился, много прочел, в том числе и прекрасных стихов разных поэтов. Понимаю, что песня, которую привожу ниже, несовершенна во всех смыслах. Но она мною даже не сочинена, а пережита, выстрадана. А это дорогого стоит.

*Стоны, бред во тьме барачных тесных.
Тревожным сном концлагерь ночью спит.
На нарах пленник голосом дрожащим
О чем-то другу тихо говорит.*

*Не спится мне, я дом родимый вспомнил,
Где мать, не веря в смерть, все письма пишет мне.
А я, израненный, в немецкий ад заброшен.
Со смертью рядом живу, как в страшном сне.*

*Удел людей здесь рабский труд и голод
И крематорий с адской трубой.
Сердца солдатские и днем, и ночью гложет
Тоска по Родине, истерзанной войной.
Тоска по Родине и днем и ночью гложет
Солдат, жестоко обиженных судьбой.*

*Быть может, сил моих все вынести не хватит,
Пропавшим без вести бесславно кончу жизнь.
Тогда прошу тебя, коль будешь ты счастливей,
Домой вернешься — людям правду Расскажи.*

*Как били нас, как газами душили,
Как тиф косил, как добивал мороз.*

*Поведай им про страшные невзгоды,
Что нам с тобою вынести пришлось.*

*Скажи друзьям моим — предателем я не был,
Что до последнего патрона мы дрались,
Что даже здесь, во власти изуверов,
Полуживые, боремся за жизнь.*

*Перед фашистами голов мы не склоняем,
Хоть гильотиной их срубают с наших плеч.
Для Родины мы — трупы, нам не страшно
Хоть первый, хоть второй раз в землю лечь.*

*Вредим фашистам мы, где можем и как можем.
На фронт восточный без зарядов мины шлем!
Бомбежек мы ковровых, право, не боимся,
И только «Ну, поддай фашистам» мы орем!*

*И если выстоим, на Родину вернемся,
То верю я — настанет день такой...
Сойдемся мы за чаркою с тобою,
И вспомним всех, кто спит в земле чужой!*

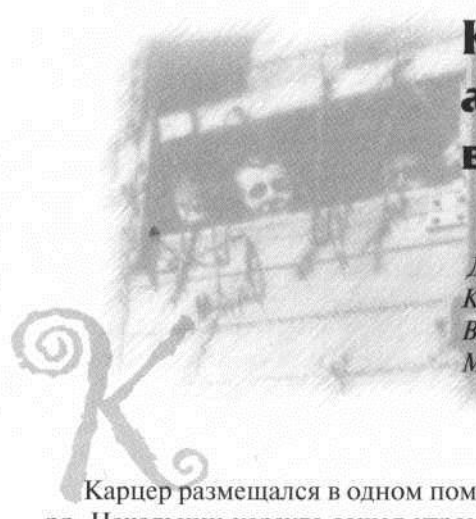
...Но пока я не дома, а в том бараке, где мы только что спели немцам о Стеньке Разине. Гости поаплодировали, и капитан попросил еще что-нибудь из русского репертуара. Ребята тут же предложили мне: «Люциан, давай «Москву майскую».

Я пропел первый куплет, а потом все хором грянули «Кипучая, могучая, никем непобедимая». Обер-лейтенанта перекосило, и он на чистейшем русском языке сказал:

«Пойте дальше, но слова «советская» замените словом «русская». Я сказал «Не ложится». Он возразил: «Прекрасно ложится. Вместо «советская» пойте «наша русская».

Но когда я дошел до второго куплета, то, хотя и по спине пробежали мурашки, пропел с особым нажимом по-старому, по-нашему: «Вся советская страна!» И в тот же момент обер-лейтенант заорал: «Замолчать! Я вам устрою праздник. А вам, — он смотрел на меня белыми от злобы глазами, — праздник будет уже сегодня».

Через пару минут два конвоира с овчаркой уже вели меня в карцер. Так я встретил 1945-й.
Год Победы.



Красный автомобиль возмездия

*Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.*

Владимир Солоухин

Карцер размещался в одном помещении с казармой охраны лагеря. Начальник караула зашел утром в мою камеру с предложением поработать. Привел меня в солдатскую казарму и велел заняться уборкой.

Я добросовестно мел пол. На тумбочках лежали куски хлеба, шпиг, другие продукты. Я ни к чему не притронулся. И вовсе не потому, что начальник несколько раз заглядывал в казарму. Затем он вместо полагающейся воды налил мне кофе, дал кусок хлеба с кровяной колбасой и сказал: «Тебе надо было родиться немцем». Так он оценил то, что я не притронулся к оставленной на тумбочках еде. Потом поинтересовался, за что меня выгнали из швейной мастерской. «Там в почете только подлизы», — буркнул я. Здесь я машинально использовал похожие немецкие слова *Schneiderei* (портняжная) и *Schlojcherei* (подхалимаж). Это развеселило начальника караула, вернувшегося с ранением с Восточного фронта. У них тоже ненавидели сытых, богатеньких тыловых крыс.

Мы разговорились. И я прямо сказал начальнику караула, что скоро война закончится, потому что Германия ее уже проиграла. Как ни странно, он не пришел от этой новости в ярость, а напротив, про-

явил ко мне интерес и симпатию. «Если тебя не потребует обер-лейтенант, то я отправлю тебя в рабочую команду, в которой тебе будет неплохо».

Через два дня он вызвал меня снова и под конвоем одного солдата отправил в Байерсдорф. На деревообделочные предприятия, принадлежащие семейству Хайнляйн. Три брата этой фамилии, старшим из которых был Христиан, имели свои леса в Германии и Австрии.

Нацистской идеологии и пивным пирушкам они предпочитали охоту, рыбоводство и были людьми работающими, добрыми и открытыми.

Пленных работников кормили сытно. Хозяин любил беседовать со мной о том, что ждет Германию. В том, что она проиграла войну, он не сомневался. А я тем более, потому что в то время был весьма осведомлен в том, что происходило: у французов, работающих в мебельном цехе, был радиоприемник.

Впрочем, о том, что свобода близка, можно было узнать не только по радио. Однажды мы услышали канонаду и поняли, что союзники совсем недалеко. И тогда я предложил одному из парней бежать. Мы с Борисом перемахнули через стенку в душевой и побежали в общежитие, где жили наши девушки. Они должны были дать нормальную одежду. Однако, на нашу беду, нас все-таки заметил один охранник.

Мы уже были в общежитии, когда туда ворвались несколько солдат и с ними некий Кафар-заде. Он тоже был пленным, но любил похвастаться тем, что служил в фашистской армии, а потом за связь с немкой был посажен в лагерь, хотя обычно за такой проступок «неарийца» казнили, а немку отправляли в лагерь. Но, видно, наш Кафар заслужил такое снисхождение. Он пристроился кем-то вроде полиция-переводчика.

Они стали избивать нас, мы сопротивлялись, пока были силы. Помню, как меня сбросили с лестницы, а Кафар-заде орал: «Нож ему в спину, нож в спину!»

Когда нас вернули туда, откуда мы сбежали, немецкие солдаты оставили нас ночевать в казарме, потому что знали о мстительности и жестокости Кафар-заде.

Действительно, через пару дней Кафар-заде появился к нам с охранником, хорватом по национальности и садистом по натуре. Сначала Кафар-заде стал избивать Бориса, потом ударил меня. Я не етерпел и ответил. Охранник остановил меня только тем, что сунул мне пистолет прямо в зубы.

После этого я не спал всю ночь, переживая это унижение. Утром, встал и вышел во двор делать зарядку. И счастье меня посетило! Прямо на меня шел, улыбаясь, Кафар-заде. Тут уж я вспомнил всю свою боксерскую юность... Короче, разукрасил я переводчика здорово. Было ясно, что мне этого не простят.

Понял это и мой хозяин, Христиан Хайнляйн, который позвал меня и сказал: «Люциан, они тебя в покое не оставят. Надо тебя отсюда отправить».

Меня изумила готовность богатого немца помочь мне, простому военнопленному. Тем не менее на следующий день два конвоира доставили меня на военный завод вблизи Нюрнберга. Прошло всего несколько суток, и немцев, охраняющих нас на этом предприятии, охватила паника, они начали разбегаться.

Рванули и мы.

Ночевал я в лесу, разбудил меня грохот орудий. Когда рассвело, вышел на опушку и увидел американские танки. Догнал один из них, закричал, что я русский офицер. Меня посадили на броню. Довезли до ближайшего города. Американский капитан распорядился поселить в гостиницу. Там уже таких, как я, было немало.

Американцы предоставили нам полную самостоятельность в выборе занятий, пока еще были сложности с передачей нас на родину. И тогда мы решили организовать группу, чтобы помогать союзникам наводить порядок на освобожденной территории. Помню, в группу вошли Костя Еременко, бывший батальонный комиссар (как он уцелел, когда всех политработников расстреливали, ума не приложу!), военфельдшер Степан, Яценко, кажется, с Украины... Других уже не помню.

Мы забрали у немцев несколько машин и стали заниматься поиском тех, кто служил в гестапо, в СС, а также наших соотечественников, сотрудничавших с фашистами.

Американцы вначале даже смеялись над нами. Дескать, зачем вам, столько пережившим, чудом выжившим, лезть в эти дела. Без вас, мол, разберемся, отдыхайте.

Но мы отдыхать не хотели. Так что же двигало нами в то время?

Во-первых, мы, столько времени пробывшие в плену, понимали, что возвращение на родину вряд ли обернется для нас праздником. Родные встретят нас, конечно же, с радостью, а вот официальные органы — вряд ли. Поэтому нам нужно было быстрее и активнее себя проявить в любых формах борьбы с врагом.

Во-вторых, скажу честно, люди, пережившие настоящий ад и вырвавшиеся из него, не все свои действия и поступки поверяли хо-

лодным разумом. Один мой товарищ по несчастью рассказывал мне: он был свидетелем того, как наш заключенный после бомбежки, проходя мимо убитого немца, пнул труп. Это был взрыв накопившейся ненависти, жертвой которого, к великому сожалению, стал не только сам заключенный. Этот взрыв заметил другой немец. И в результате вся команда, человек двадцать пленных, была расстреляна.

Даже когда мы стали свободны и опасности погибнуть от руки наших мучителей уже не было, мне все равно приходилось останавливать многих бывших узников от того, что называется внесудебной расправой. Меня не меньше, чем других, переполняло чувство мести, но в то же время я, чьи родственники в довоенные годы стали жертвами нашего, советского беззакония, наверное, лучше других понимал, к чему может привести идея возмездия, если ее осуществлять, опираясь не на закон, а на личные чувства.

Поэтому нашей задачей было выявлять военных преступников и передавать их американским военным властям.

Нашими «оперативными помощниками» были девушки, которых угнали в Германию и которые работали в немецких семьях. Они знали о своих хозяевах все и могли точно сказать — кто и чем занимался во время этой страшной войны.

На своих машинах мы нарисовали красную звезду, серп и молот — так, чтобы отличаться от американцев. И не скрою, что и мы, и наши «знаки отличия» наводили на немцев страх.

Но знали бы те настоящие эсэсовцы, подчас хорошо вооруженные, кто пришел их арестовывать. Однажды мне в машину бросили гранату, я получил ранения. Меня подобрали американцы. Что мне запомнилось — в их госпитале меня сшивали не нитками, а какими-то скрепками, вроде канцелярских. Потом их вынимал из меня наш фельдшер Степан и все удивлялся. В другой раз мне одному пришлось брать троих офицеров, ночевавших в доме на окраине города. Я ворвался в комнату с американским кольтом, в котором было два патрона. Это была действительно психическая атака, и, как ни странно, она удалась. Я отобрал у них три автомата...

Мы жили в городе Райне, в гостинице, которую я посетил уже в наше время, три года назад, когда приехал искать могилу одного из своих товарищей. Могилу я не нашел, потому что по немецким порядкам, если в течение 15 лет она остается безымянной, ее ликвидируют. Поэтому сообщать о своей поездке родным своего товарища я не стал, не захотел лишний раз травмировать. А вот мое сердце во время этой поездки щемило не раз. Слишком много воспоминаний, самых разных.

Интересно складывались наши отношения с американцами. Известно, что начало холодной войны связано со знаменитой фултонской речью Черчилля в 1949 году. Но мы-то зябкий ветерок этой войны почувствовали еще в сорок пятом. Это выразилось в том, что президент Трумэн начал менять служащих американского контингента в Германии. Политики в США, вероятно, почувствовали, что воевавшие против одного врага американцы и русские стремительно сближаются, у них много общего, и это стало тревожить те круги на Западе, которые не принимали ни Сталина, ни тогдашний Советский Союз. Они попросту нас боялись — как страну, поднявшуюся из руин и одержавшую такую Победу.

Вновь прибывшие американцы уже не были столь доверчивы к нашей группе. У нас стали отбирать наши «краснозвездные» автомобили. Дело дошло почти до перестрелки. Поэтому однажды ночью мы сели в свои автомобили и рванули в сторону наших. Это было 2 мая 1945 года.

С нами не поехал Виллис Лейн, которого я знал еще по лагерю вблизи Кенигсберга — он был среди четверки тех неудачливых беглецов, что пытались уйти к нашим со списками полицаев и предателей. Так вот он, то ли от усталости, то ли из осторожности сказал мне: «Знаешь, я буду наших здесь ждать. Придут, оформят всех организованно и отправят на родину. Короче, мне так удобнее...» Тогда он еще не знал, чем обернется для него это решение. Но об этом позже.

Когда мы уезжали, практичные и хорошо относящиеся к нам немцы советовали мне оформить машину, что получше, на себя и гнать ее на родину как трофей.

Но нам и в голову не приходил такой прагматизм. Больше того, невозможно было представить, что я вдруг разъезжаю на вражеском автомобиле...

Потом мы прибыли на 44-й армейский сборный пункт. Руководил им известный генерал Голиков, заместитель Жукова по этим делам.

Меня назначили начальником штаба полка бывших военнопленных. Сегодня эта должность звучит даже забавно. Но тогда от такого доверия родины меня переполняла настоящая гордость.

Хочу сказать, что среди всех, кого был освобожден из нацистского плена, было немало стукачей, бывших полицаев, самых разных субъектов, которые, почуяв, что немцы проиграли войну, стремились раствориться в общей массе бывших узников. Но чаще всего узники сами их разоблачали. Этот армейский сборный пункт был неподалеку от Праги. Отсюда я и написал свое первое письмо маме.

«Здравствуйте, милая мама, Светлана, бабушка и все горячо любимые родственники!

После долгой разлуки пишу вам это письмо, которое является залогом скорой встречи с вами.

Долго находясь в ужасном аду фашистского плена, переживая страшные голод, холод, тиф, произвол, на который обрекали нас эти звери, стремясь превратить в рабов (а всех, кто оставался непреклонным, истребить!), я верил, что будет время, когда я увижу вас. И вот это время наступило. Пусть это первое письмо будет началом второй жизни с вами. Да, второй, ибо человек, переживший плен, может считать себя вновь рожденным.

Немного о себе. Я здоров. Нахожусь в Чехословакии и счастлив, что мне дали возможность вновь служить в Красной армии, которая для меня как вторая мать.

Мама, как только я покинул тебя, я понял, сколько я потерял. Фронт и плен заставили меня многое переосмыслить. Мне до боли ясно представились те мучения, что ты испытала из-за меня. Я ощутил твою огромную любовь ко мне. Я также понял, что был неблагодарным глупцом и эгоистом.

Я сказал себе, если вернусь, то сделаю все, чтобы доказать — все, чему ты меня учила, не прошло даром. Часто, когда мучения становились невыносимыми, терялась воля и смерть казалась желанным избавлением, передо мной вставал твой образ. Тогда я собирал остатки сил, чтобы дальше бороться за жизнь. Так ты помогала мне выжить...

26 мая 1945 года»

До этого, в том же сорок пятом, она получила обо мне сообщение, в котором говорилось, что я погиб смертью храбрых, пропав при этом без вести. От такой формулировки можно было сойти с ума, потерять все надежды.

Получив, как я писал маме, «возможность вновь служить в Красной армии», я был уверен, что в той же Чехословакии все должны относиться к нашим солдатам и офицерам исключительно как к освободителям. Но здесь, как и с американцами, чувствовалось охлаждение. Оказалось, чехи и словаки, как, впрочем, и народы других стран Восточной Европы, вовсе не испытывали горячего желания жить под патронажем «большого брата», Советского Союза. Я в ту пору не мог знать, как складывались отношения на высоком политическом уровне, но охлаждение ощущалось даже в нашем армейском быте. Местные жители выказывали недовольство, когда наши ребята порой нарушали неприкосновенность частной собственности. Конеч-

но же, никаких крупных посягательств на чужое имущество я не наблюдал. Речь шла разве что о дарах садов и огородов, но все равно хозяева нередко не могли понять гостей.

Еще больше меня изумил случай, когда чехи поймали и привели к нам эсэсовца. Вначале они избили его так, что на нем не было живого места, а потом, почувствовав, что немец вот-вот отдаст Богу душу, решили вручить его русским. Когда я стал возражать, мне дали понять, что полуживого солдата приволокли нам чуть ли не как подарок, которому мы должны быть несказанно рады. То есть постепенно образ советской армии — освободительницы вытеснялся в сознании восточных европейцев образом завоевательницы.

Гораздо позже я прочту интересные материалы о переговорах Хрущева и американского президента Джона Кеннеди, которые предлагал нашему лидеру принять решение об уходе Советского Союза из стран Восточной Европы. Взамен Кеннеди предлагал СССР серьезную и постоянную экономическую помощь. Но главное даже не это и не национальные интересы США в так называемых странах социалистического лагеря. Джон Кеннеди оказался пророком, когда говорил Никите Сергеевичу о том, что нам все равно придется уйти, что навязанные силой режимы в конце концов рухнут.

Так и произошло. Но какова была цена издержек, понесенных нашей страной, руководители которой не жалели ни средств, ни людей для экспорта социализма по всему миру. Я вовсе не являюсь противником социализма как идеи и даже как политического устройства государства. Мне, например, интересен опыт нынешнего Китая. Но речь-то о другом: нельзя ничего строить в чужой стране против воли ее народа. Как, кстати, и против желания своего народа ничего прочного, а главное, полезного людям воздвигнуть невозможно.

Но в том далеком 45-м не эти мысли бродили в моей голове. Я мечтал о возвращении на родину. Однако после сборного пункта в Чехословакии мы вновь оказались в Германии, в местечке Баутцен.

Жили мы в спортзале какого-то предприятия. Но в городке были две знаменитых тюрьмы, построенных еще в начале века. Одну из них я посетил. Ее называли «Желтая беда» — из-за желтой кирпичной кладки стен. Во время войны здесь сидели противники нацистского режима. Мне показали камеру, где содержался лидер немецких коммунистов Эрнст Тельман. В августе 1944-го он был отправлен в концлагерь Бухенвальд и там казнен.

Во второй тюрьме Баутцена сидел чешский журналист, герой-антифашист Юлиус Фучик. Одно из его писем родным мне пришлось в свое время прочитать. В нем Фучик описывает фашистскую тюрьму

му такой, какой могла одобрить цензура: «Как видите, я переменял местожительство и очутился в тюрьме для подсудимых в Баутцене. По дороге с вокзала я заметил, что это тихий, чистый и приятный городок; такова же и его тюрьма (если тюрьмы вообще могут быть приятными для заключенных). Только тишины здесь, пожалуй, слишком много. Почти каждый заключенный — в одиночке... Есть у меня и еще друзья, не в камере, а в дворике, куда мы каждый день выходим на прогулку. Двор невелик и отделен стеной от большого сада с прекрасными старыми деревьями. Во дворике есть газон, а на нем такое множество всякой травы и цветов, какого я еще не видывал на таком маленьком кусочке земли...»

Мне, человеку, побывавшему в фашистских лагерях и тюрьмах, читать такой «лирический этюд», написанный, разумеется, не по доброй воле, было и смешно, и печально.

А весной 1945 года в двух этих старых тюрьмах уже вовсю работали следственные группы, выявляя нацистских преступников.

Здесь в Баутцене мы снова встретились с Женей Ляйне. Он был комендантом одного из зданий, в котором жили бывшие военные летчики. Мы оба были искренне рады встрече, что еще раз говорит о том, что тяжелые испытания не делали нас злопамятными. Плохое вымывалось и отсеивалось. Оставалось все то хорошее и доброе, что помогало выжить и сохранить человеческий облик.

Женя рассказал мне о своих последних днях в плену. Он познакомился в лагере с обер-фельдфебелем, отца которого за коммунистические убеждения немцы уничтожили в газовой камере. Однажды ночью, когда уже был слышен гул американских орудий, обер-фельдфебель дал Жене оружие, и они вдвоем освободили всех пленных.

Женю Ляйне, который был по военной специальности штурманом авиации, еще нескольких летчиков, сумевших сохранить здоровье, быстро посадили в самолет и отправили на Дальний Восток — туда, где начиналась японская кампания. Больше я его не видел. И пока все мои попытки узнать что-либо о своем друге терпели неудачу.

Нас же, остальных, в Германии держали недолго. После некоторых формальностей и последних проверок посадили в теплушки и повезли на Восток.



Как я не умер на похоронах Сталина

*Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины,
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.*

Борис Слуцкий

Мы прибыли в Невельский район Псковской области на станцию Опухлики. Первое, что увидел я на перроне — солдаты с автоматами, окружившие эшелон. «Ну, вот и Припухлики!» — выдохнул кто-то из нас.

Так нас встретила родина.

Мы отказались выгружаться, заявив, что возмущены тем, как нас встретили после фашистского плена. Началась война нервов. Эшелон стоял. Мы не выходили. Солдат не убирала. Наконец приехал румяный, веселый майор и бодро закричал: «Товарищи узники фашистского плена! Произошла ошибка! Мы приветствуем вас на родной земле!». Грянул неведь откуда взявшийся оркестр, и мы вышли на просторы отечества.

Определили нас в 10-й полк запасной горьковской дивизии. Поселили в лесу, где мы начали строить землянки и создавать что-то среднее между воинской частью и лагерем.

Недавно я обнаружил в туристическом справочнике санаторий и дом отдыха «Голубые озера». Это в тех самых Опухликах, что в Псковской области.

Что ж, места, в которых я «отдыхал» сразу после войны, действительно замечательные. Леса, озера, свежий воздух. Думаю, что это нравилось и сотрудникам СМЕРШа, которые выявляли темные пятна в наших биографиях.

Здесь, в Невеле, случилась моя последняя встреча с Кафар-заде. Каким образом этот вурдалак прошел все предшествующие проверки, понять было невозможно. Но я мог его узнать, даже если бы он сделал пластическую операцию. Он меня тоже узнал. «Нож в спину, говоришь... — сказал я. — Нет, Кафар-заде, я тебе тем же отвечать не буду. Ты сам все следователям из СМЕРШа расскажешь».

Два слова об том, что я думаю об организации, которая занялась фашистским холуем.

Как известно, название СМЕРШ происходит от известного лозунга «Смерть шпионам!». Главное управление контрразведки СМЕРШ работало как в тылу врага, так и в прифронтовой полосе, выявляло шпионов и диверсантов, вело радиоигру с военной разведкой противника. Эти моменты деятельности СМЕРШа лучше всего описаны писателем Владимиром Богомоловым в его известной книге «В августе 44-го». Другой русский писатель Федор Абрамов о СМЕРШе не писал, но служил в нем во время войны.

А еще СМЕРШ «фильтровал» таких, как мы, освобожденных из немецкого плена советских солдат, проверял надежность бойцов и командиров на передовой. Для тех, кто попадал в СМЕРШ, начинались недели, месяцы унижительных допросов, которые казались порой оскорбительными и несправедливыми. Были ли при этом ошибки и злоупотребления? А как их могло не быть, если через эти «фильтры», согласно некоторым данным, прошло около 10 миллионов человек. Многим такие «объятия Родины» показались хуже фашистского плена. Но никто не будет отрицать, что выявлялись и действительные военные преступники, предатели и т. д.

Разумеется, незаконные репрессии тридцатых годов наложили свой отпечаток на общественное мнение о деятельности и такой организации, как СМЕРШ. Поэтому всякая отчетность о том, сколько было выявлено шпионов и вражеских агентов, до сих пор вызывает недоверие. Но лично мне, при всех моих претензиях и обидах, отнюдь не кажется, что «смершевцы» зря ели свой хлеб. Я считаю так потому, что они действовали в условиях жестокой войны с реальным и смертельно опасным врагом.

...Для каждого из нас, кого проверяли и перепроверяли, было очень важно, чтобы находились люди, которые тебя знали по совместной отсидке в разных фашистских лагерях. Мне в этом смысле по-

везло. Нашлись ребята, помнящие, как я распевал советские песни, как создавал группу по выявлению предателей...

В то же время я понял, что мои заслуги в Германии, когда моя группа помогала американцам, при проверке могут быть восприняты неоднозначно. Потому что сам по себе контакт с союзниками уже не воспринимался однозначно как совместная работа против общего врага. На горизонте маячили новые враги — так стремительно менялись наши отношения с Западом. Хорошо, что у меня оказалась некая справка, выданная мне американцами в госпитале, куда я попал после ранения эсэсовской гранатой. Это как бы подтверждало мою антифашистскую деятельность весной 45-го.

Короче, в Невеле я прошел все проверки, получил подтверждение моему воинскому званию, кое-какие выплаты за войну и разжился парой сапог, правда не своего размера. В декабре 1945 года я покинул благодатные места Псковщины и приехал в Москву, где вначале остановился у дяди Степы. Но вскоре я от него съехал, и причина была неожиданная. Квартира у дяди Степы была маленькая, а я первое время после войны по ночам кричал во сне. Меня взял к себе Сергей Дмитриевич Баламутов, парторг ЦК в Особой строительно-монтажной части (ОСМЧ), которая строила завод в Электростали. Его московская квартира была, как мне казалось, невиданных размеров. А может, такой свободной она виделась мне после барачных и карцерных. В общем, я чувствовал себя хорошо. Мучило только одно — я не смог приехать в Баку, повидать сестру и маму. Но они меня не забывали...

«Дорогой мой мальчик!

Если эти тяжелые годы испытаний не лишили тебя твоих способностей, то кому же тогда учиться, как не тебе. Будет очень трудно, но вспомни, как учились твои родственники — дядя Степа, Сергей Дмитриевич. У них была семья, дети, но все же они добились своего. Надо только хотеть, Люцик!

Посылаю тебе папину шинель, которая уцелела только потому, что лежала в ломбарде несколько лет. Все остальное ношенное, но я с Лялей все починила. Для работы посылаю тебе свою стеганку. Она, правда, грязная, но стирать ее нельзя — станет холодной. Может пригодиться тебе и папин пиджак. Его мы постирали. Бабушка связала тебе перчатки и носки. Она, бедная, переживает, что не увидит тебя больше, т.к. стала старенькая совсем. Да и недоедание изнуряет.

Люцик, есть у меня американский материал. Его было 5 метров, но Ляля сшила себе костюм. (Ты знаешь, она девочка, ей надо одеваться.)

Из остатка я могла бы сшить что-то тебе, но не знаю теперь — какой у тебя размер.

Больше у нас ничего приличного нет. Все распродали. Я ведь почти всю войну получала только 400 граммов хлеба.

Но сейчас с хлебом стало легче, можно на базаре купить по 15 рублей килограмм.

Ты пишешь, что мог бы устроить меня в Москве. Но я привыкла к южному солнышку. У меня нет пальто, и в Москве я замерзну. А здесь в Баку в зимний период я могу спокойно ходить в жакете и гаюшах. Что и делаю.

Целую тебя. Мама и Ляля».

Ляля — это моя родная сестра, которой, как и мне, дали два имени. Светланой ее назвал папа, но крестивший сестру поп сказал, что такого имени в православных святцах нет. Тогда наш дедушка Василий Иванович Шикин остановился на Таисии. В метрике так и записано: «Таисия-Светлана».

Дома мы ее всегда звали Лялей. Папа любил ее так называть.

Сестра окончила техникум, потом инженерные курсы. Всю войну она работала в Баку на заводе, производящем средства связи для фронта. Была комсомольским секретарем, членом райкома, имеет различные награды. Особенно гордится медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

...Мама прислала мне и новую отцовскую морскую шинель, и отрез американской материи довоенного производства, знаменитый «шевиот № 2003»!

Правда, вскоре из ссылки вернулся брат хозяина Александр Дмитриевич. С «дядей Сашей» мы быстро нашли общий язык, хотя и сидели в таких разных тюрьмах и лагерях. Правда, дядя Саша как работник НКВД рассказывал о своей лагерной жизни крайне мало. Он только однажды сказал: «Меня спасли от гибели мои друзья». А еще он очень не любил Берию, что по тем временам было опасно.

Дядя Саша возглавлял партком МГБ, и его самостоятельность, нежелание лебезить перед Лаврентием Павловичем последнему не давала покоя. Однажды случилось так, что Александр Дмитриевич проводил заседание парткома, а Лаврентий Павлович собрал группу руководителей, чтобы в очередной раз пострашать их тем, что Сталин охраняется недостаточно хорошо.

В этот же день Берия встретил Баламутова в коридоре и спросил: «Александр Дмитриевич, почему я не видел тебя на совещании?» На что мой дядя ответил: «Лаврентий Павлович, а ты не пробовал одним местом сесть сразу на два стула?»

Берия это запомнил. Сталину он доложил, что секретарь парткома считает службу безопасности вождя клоакой. После Александра Дмитриевича понизили в должности, а затем и судили, обвинив в «злостных упущениях по службе».

...Когда по радио передали, что умер Сталин, мне показалось, что я снова попал в одну из июльских ночей 42-го года, когда мы были окружены в Большой излучине Дона, и жизнь казалась законченной. Точнее, жизни не было, ее вытеснил страх.

Помню, я даже ударился головой о стену и прошептал: «Все пропало!»

Именно состояние паники, незащитности, как мне теперь кажется, гнало людей на похороны вождя. Я взял с собой кроху-сына и на электричке поехал из Красногорска в Москву.

Хорошо, ах, как хорошо, что по дороге к центру заехал к Баламутовым! Они жили буквально рядом с Институтом Склифосовского. Ворота в «склиф» были открыты, и я увидел во дворе горы, буквально горы трупов, привезенных с Трубной площади, где во время похорон, как известно, началась страшная давка, в которой погибли сотни людей.

Эта масса человеческих останков, перемешанная с какими-то вещами, одеждой, обувью произвела на меня страшное впечатление, но она же и уберегла от намерения идти с ребенком на руках провожать «вождя всех народов».

Пройдя все круги ада, выжив в страшной войне, я мог погибнуть на похоронах Сталина! Какая жестокая ирония истории...

В тот страшный 53-й год для меня Сталин, чей режим власти нанес такой большой урон жизням и судьбам моих родных и близких, все равно оставался «гениальным вождем», «мудрым руководителем», «путеводной звездой». И тогда так думали миллионы. Страна, по сути, впала не в траур, а в коллапс. Казалось, жизнь остановилась.

Но это было не так. За кремлевской стеной в те же трагические дни уже разворачивались новые исторические сюжеты.

Дядя Саша Баламутов в те дни был мрачен. Вдруг сам заговорил со мной о Берии: «Если к власти придет этот человек, все, что было до этого, покажется нам раем...»

Что произошло в стране после смерти Сталина, какие силы боролись за власть, кто победил в итоге — все это хорошо известно. Конечно, в том, как был арестован и быстро расстрелян Лаврентий Берия, виден, прежде всего, накал борьбы между властными группировками в Кремле, страхом каждого участника тех интриг за свою судьбу.

Позже, изучая этот период по различным документам, я еще раз убедился, как прав был дядя Саша Баламутов в оценке фигуры Берии. Поэтому спустя многие годы я не мог не удивиться, когда в нашей либеральной прессе стали появляться материалы, в которых доказывалось, что Лаврентий Павлович был чуть ли ни предтечей и автором идей демократических реформ в стране.

Действительно, я помню, как после смерти Сталина была объявлена амнистия и из тюрем выпустили тех, кто сидел за прогулы, за воровство «трех колосков с колхозного поля». Но в фильме «Холодное лето 53-го» хорошо показано, кого еще выпустил на волю Берия — огромное число отпетых уголовников, которые буквально терроризировали население.

Да, был тогда же прекращен ряд политических дел, в том числе и дело врачей-вредителей. Но когда после ареста Берии на Пленуме ЦК обсуждались его деяния, Николай Булганин, министр обороны СССР, заявил буквально следующее: «...Приходилось слышать о якобы положительной роли Берия в его делах по освобождению врачей, ликвидации грузинского дела. Скажу вам, что еще при жизни товарища Сталина мы, члены Президиума ЦК, между собой, нечего греха таить, скажу прямо, говорили, что дело врачей — это липа. Еще при жизни товарища Сталина между собой об этом говорили. Верно, товарищи?»

И из зала радостно закричали «Верно!». Цитирую это, чтобы было ясно, как быстро после смерти Сталина переориентировались его бывшие соратники, да что там! — его слуги. Каждый боролся за власть и в то же время следил за другими, чтобы вовремя занять «верную» позицию.

Сегодня обнаружена целая демократическая программа Лаврентия Берии. Он, дескать, планировал вернуться к власти Советов, какой она была в феврале 1917 года, предлагал ликвидировать Особые совещания МВД, МГБ, чинившие внесудебные расправы, хотел вернуть Японии спорные острова Курильской гряды, установить дружественные связи с Югославией и ее лидером Тито, который так не нравился Сталину.

Наконец, Лаврентий Павлович настаивал на том, чтобы вообще отказаться от строительства социализма в Восточной Германии.

Но вот что говорил в то время Георгий Маленков, председатель Совмина СССР:

«...Мы все пришли к заключению, что в результате неправильной политики в ГДР наделано много ошибок, среди немецкого населения имеет место огромное недовольство, что особенно ярко вырази-

лось в том, что население из Восточной Германии стало бежать в Западную Германию. За последний период, примерно за 2 года, в Западную Германию убежало около 500 тысяч человек».

Вот так. Оказывается, они ВСЕ пришли к заключению, что нельзя силой навязывать Германии советскую модель!

Интересно, что позже Маленкова объявят пособником «кровавого палача» Берии. И это правда. Был момент, когда даже сам Сталин усомнился в том, что «Ленинградское дело», по которому обвинялись такие известные советские деятели, как Кузнецов и Вознесенский, ведется объективно. Вожьд отправил в Ленинград Маленкова, который вскоре вернулся и доложил: следствие на правильном пути.

Позже, когда было установлено, что «Ленинградское дело» сфабриковано, Маленков не был расстрелян вместе с Берией только потому, что не было установлено его прямого сговора с Лаврентием Павловичем. В борьбе за власть победит Хрущев, потом придет Брежнев, за ним Черненко, Андропов, а ошибок в политике по отношению к ГДР так никто из власти имущих ни признавать, ни анализировать не будет. Восточные немцы так и будут убегать в Западную Германию, а обстановка в ГДР — накаляться. Дальнейшее известно — произошел взрыв.

К чему я это говорю. К тому, что между словами, произнесенными тогда, в начале 50-х, людьми из сталинского окружения, и делами, которые они творили в прошлом и стали вершить в будущем, существует пропасть. И в историю любой политик вписывает себя тем, что он сделал.

Поэтому не надо мне рассказывать сладких сказок о благородных намерениях Лаврентия Павловича Берии и ему подобных «реформаторов». Он вписал себя в нашу историческую память не добрыми намерениями, а злыми делами.

И в моей памяти этим человеком тоже были оставлены печальные зарубки.

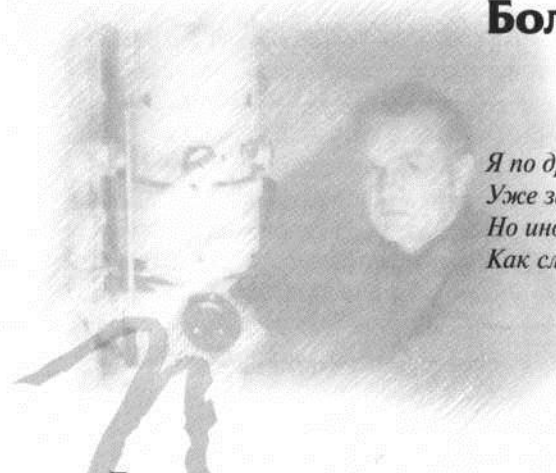
Примерно в 1946 году я получил письмо от Вилиса Лейна. Он писал из Новгорода. Я тут же ответил, но неожиданно в ответ пришло странное официальное уведомление, точнее настоятельная просьба — больше по этому адресу гражданину по имени Лейн не писать, так как «данное лицо по данному адресу больше не проживает».

Думаю, что это «исчезновение» было напрямую связано с тем, что Виллис тогда, в Германии, решил дожидаться наших войск в американской зоне. Вот и дождался. Дальнейшая судьба моего друга так и осталась мне неизвестной. Но думаю, он стал одной из жертв репрессий, последовавших после войны, когда одних людей арестовывали

только за то, что они были в плену. Других — за то, что уже освобожденными оказывались в зонах, контролируемых союзниками.

Между прочим, вернувшись на родину, я старался меньше рассказывать о том, что мы делали после того, как нас освободили американцы. Уже повсюду чувствовалось политическое похолодание, и то, что еще недавно могло быть заслугой в совместной борьбе против фашизма, могло стать твоим серьезным «проколом».

Вообще, придирчивость наших организаций, учреждений, предприятий к военным биографиям людей была невероятной. За мной, как и за многими, разделившими подобную судьбу, неотступно следовало мое «дело», некий пакет материалов, рассказывающий о моей преданности или не преданности родине. Эти бумаги не позволялось читать тому, о ком они были написаны. Но я, допустим, знал, что был восстановлен в звании лейтенанта, которое получил по окончании Бакинского пехотного училища. В то же время был уверен, что начинался мой «индивидуальный пакет» с перечня моих родственников, арестованных в довоенные годы. И если бы это была прямая родня (отец или мать), то наверняка судьба моя сложилась бы гораздо трагичнее.



Болдинская зима

*Я по другим дорогам ездил много —
Уже заметно тронут сединой, —
Но иногда проходит та дорога, —
Как слышанная песня, предо мной!*
Сергей Смирнов

Послевоенная жизнь складывалась непросто. Что мы умели и могли, ребята, в восемнадцать отправившись на войну! Вхождение в мирное время для многих было трудным — не было ни профессии, ни своего угла, ни серьезных планов.

Сергей Дмитриевич Баламутов сложность моей адаптации понимал, к моим ночным крикам относился сочувственно, и в конце концов именно он нашел мне первую мирную работу. Я стал заведовать двумя столовыми: на станции Болдино, где надо было кормить четыре десятка грузчиков, и в деревне Лапыревс, где работали лесозаготовители.

Инструктаж получил в ОРСе, причем случайно. Вероятно, учить тому, как кормить грузчиков и вальщиков леса, никто меня не собирался. Но в том же кабинете, где я оформлялся, какая-то видная дама учила другую не менее значительную особу — как организовать бухгалтерию, питание и обслуживание столовой, явно предназначенной для начальства. Вот эту «лекцию» я и взял на вооружение. И уже тогда изрядно удивился разделению кормящихся граждан на простых и начальников. Но, как потом выяснилось, это было не самое удивительное и далеко не последнее мое открытие...

Кстати сказать, отношение простого народа к тем, кто прошел войну, было по-настоящему добрым и благодарным. Помню, как добирался я из Москвы в Болдино, где предстояло открывать столовую. Вначале надо было с пересадками доехать на поезде до станции Петушки. Денег у меня не было, в кармане лежал только талон на обед. Контролер был со мной не то чтобы строг, а скорее честен. Он говорил, что не имеет права меня не наказывать. И тут за защиту служивого встала общественность вагона: «Ты что, не видишь, он же только с войны, откуда у него деньги?»

Доехали до Петушков, где попутчики стали уговаривать меня идти с ними ловить на дороге машину, но я поблагодарил за приглашение и пошел пешком. А идти надо было 18 километров. В жуткий мороз. Но что он нам, прошедшим окопы и лагеря! Короче, двинул.

Мои ноги от обморожения спасло только то, что мне достались сапоги большого размера и потому я сумел намотать побольше портянок.

В начале пути меня дважды догоняли грузовики, в которых сидели мои попутчики из поезда. Они звали меня, но я отказывался, потому что второй раз (теперь уже шоферу) говорить, что у меня нет денег на проезд, моя гордость мне не позволила.

На этой гордости, можно сказать, и дошагал до Болдино.

А начальника лесозаготовительного участка Кучерова на месте не оказалось. Я прождал его до самого вечера. Наконец встретились, обговорили все, что касается закупки котлов, посуды, продуктов.

Надвигалась ночь, и я поспешил в обратный путь. Дотопал до станции, где кассирша убила меня сообщением, что билеты на проходящий поезд вообще не продаются, потому что он здесь только останавливается, но не берет пассажиров.

Сбавлением хода я и воспользовался. Помогла бакинская школа катания на трамваях. Так, держась за поручни и кое-как приспособившись на ступенях, я проехал более 100 километров. К концу дороги я уже не чувствовал рук, они буквально примерзли к поручням.

Трудно сказать, сидел я или висел, когда поезд остановился на станции «Железнодорожная» и на меня дурным голосом стала кричать проводница. Но тут из вагона высунулись два морячка: «Братишка, куда следуешь? Давай к нам, гостем будешь...» Они заставили проводницу не только перестать орать, но и открыть дверь тамбура. Затем втащили меня в вагон и стали отпаивать чем-то очень крепким.

Меня разморило, я уснул. Когда приехали в Москву, морячки проводили меня до самого дома в Коптельском переулке. Идти одному мне было очень трудно — у меня почти не гнулись колени.

Рассказываю эту историю, чтобы была понятной атмосфера той послевоенной жизни, когда большинство людей жило по неписаным законам братства и взаимовыручки. Подсознательно мы были уверены: без соблюдения этих законов, без доброты и сострадания не было бы и той Победы, что была добыта народом такой страшной ценой.

Цена Победы диктовала многим из нас, как надо вести себя в этой завоеванной мирной жизни.

...С самого начала моей карьеры в системе общественного питания я понял, что запросто могу попасть за решетку. Конечно, жизнью в неволе меня не удивишь, но сидеть в советской тюрьме по уголовному делу — этого я и в страшном сне себе представить не мог. Такое вот было воспитание.

Работу столовых я наладил. Котлы для приготовления еды купил в бане. Нашел лудильщика, который привел их в порядок. Насчет завоза продуктов сумел договориться с заведующими ларьками в Болдино и Лапырево. У них это дело уже было отлажено.

Так начиналось мое служение в системе общепита.

Однажды приехал в Лапырево начальство — выслушать лесорубов, вдохновить их на рост показателей. Те были готовы дать стране больше леса, но попросили увеличить рацион питания. А как? Продукты по карточкам. Есть возможность добавки только за счет картофеля, имеющегося на складе. Но картофель в те времена тоже считался фондовым, можно сказать, стратегическим продуктом, и за его перерасход — тюрьма.

Тем не менее замначальника Особой строительно-монтажной части № 17 товарищ Дайчик заявил собранию: «Ничего, мужики, дело поправимое. Начнем с того, что удвоим рацион картошки». Лесорубы, конечно, заплодировали, но у меня что-то сразу екнуло. Уж больно смахивало на хлестаковщину.

А тут еще после собрания решили по традиции начальников ужином угостить. Естественно, не без «горячительного». Не знаю, сильно или не очень сильно огорчил я начальство, но с помощью бригадира лесорубов пришлось дать понять высоким гостям, что за выпивку они должны заплатить из своего кармана.

Господа-начальники расплатились и отбыли в непонятном настроении. Я вернулся в Болдино, где жил в то время, и уже ложился

енить, когда явился некий посыльный и сказал, что начальство ждет меня для разговора.

Я пришел в дом, где они, очевидно, продолжили свой товарищеский ужин.

— Вы дали команду увеличить в рационе картошку? — спросил меня ретивый, но уже не трезвый Дайчик...

— Нет, пока не дал.

— А в чем дело? Завтра с утра удвойте норму.

— Напишите распоряжение.

— Тебе что, слова моего мало?

— Слово к делу не подошьешь. Картофель — фондовый продукт. Я за каждый килограмм должен отчитаться.

— Ты что меня учишь?! Давно за решеткой не сидел?

— Я, товарищ Дайчик, сидел за фашистской решеткой, а не за советской. Разница есть?

Тут он совсем рассвирепел. Я молча слушал. Наконец он выдохся и подписал распоряжение:

— Вот вам бумага и будьте добры, чтобы утром люди уже ели по-новому.

Хорош новатор! Это означало, что мне ночью надо вернуться в Лапырево. А это 7 километров по лесу. Закрывая дверь, я услышал еще одно, уже устное распоряжение: «Лошадь этому малохольному не давать!»

И хорошо, что не дал. Потому что всю дорогу меня сопровождали волки. А уж на лошадь они бы точно кинулись не раздумывая.

Ощущение от волчьего «конвоя» было не менее сильным, чем если бы меня сопровождали немецкие автоматчики. А, бежать, демонстрировать свой страх нельзя — набросаться сразу. Поэтому я шел с видимым спокойствием, горлая: «Ой, ты, зимушка-зима, ты холодная была!»

Видно, это произвело впечатление на хищников: они провожали меня буквально до дома, с которого начиналась спасительная деревня.

Продолжая заниматься столовыми, я понял, что пойти на компромисс с моими лукавыми руководителями — значит стать их подельником. А этого я себе позволить не мог.

Так что же, доносы на них писать? Нет, я выбрал иной метод. Когда узнал, что один из них не сдал талоны, по которым столовая должна была отчитываться, просто пришел к нему домой, взял за грудки и сказал, что если он не даст слово завтра же погасить все долги, то сейчас же вылетит в окно. А жил он в то время на пятом этаже...

Угроза подействовала. Но наши разногласия от этого только усилились, и становилось ясно — такая работа не для меня. Кроме того, я испытывал очень сильно влечение к общественной деятельности, довоенные воспоминания о школе, пионерском лагере буквально жгли меня. И я решил уйти из общепита. Но тут случилась беда — меня в Болдино обокрали. Дело в том, что нередко выручку я держал дома — казалось так надежнее. Увы, я ошибся. Деньги успешно умыкнули. То ли родственники хозяйки, то ли случайные гости... Вести расследование, подозревать людей, которые меня пригнали, я не стал. Поняв, что недостача неизбежно обнаружится при моем увольнении, стал воображать, где взять две с половиной тысячи. И тут вспомнил про отцовскую морскую шинель, которая хранилась в доме у Сергея Дмитриевича Баламутова в Москве.

Завсегдатаи барахолки на Цветном бульваре сразу же меня окружили и начали профессионально бить цену. За этим торгом внимательно наблюдал коренастый пожилой мужчина, который в итоге не выдержал и, растолкав спекулянтов, подошел ко мне. «Почему продаешь?» — «Долго рассказывать. Задолжал государству две с половиной тысячи. Такую цену никто здесь не дает». — «Вот тебе три тысячи, и больше с этими не связывайся, обдерут»

Кто он был такой, почему решил меня выручить, я не знаю. Думаю, что бывший фронтовик. Тогда я был рад нашей сделке и благодарен этому мужику. Но потом стало жалко отцовской шинели, как и всего, что напоминало о нем. Действительно: «Имеем — не храним, потерявши — плачем». С другой стороны, жизнь была настолько суровой и жесткой, что приходилось идти на такие моральные уступки.

Но мои злоключения на этом не кончились. Дайчик не стал принимать к отчету документы, подтверждающие, что я купил котлы в бане и заплатил за то, что их лудил. «В какой еще бане!? — орал он. — Здесь особая монтажно-строительная часть, мы государственные люди, а он, видите ли, с банщиками шахер-махер разводит!»

Тут уж я не выдержал и отправился к вышестоящему начальству. Там ситуацию поняли, отчет мой приняли. Но и я уже кое-что для себя уяснил: не мое это было дело — столовыми руководить. Тех, кто приходил с лесной просеки обедать, я уважал и ценил. А вот те, кто осуществлял руководство рабочих снабжением, были мне крайне несимпатичны. Сигнализировать с чистых на руку и загульных начальничках — это было не по мне. И работать под их руководством я больше не хотел. На моем заявлении об уходе поставили резолюцию: «Уволить по собственному желанию без последствий».

О каких последствиях они беспокоились — не знаю. Думаю, о последствиях для самих начальников от общепита и их сытой по тем временам жизни. Сейчас думаю: вроде бы мне, умиравшему в плену от голода, моя работа в столовых должна была показаться раем. Но, нет, счастья не получилось. Люди, «осуществлявшие питание трудящихся», оказались абсолютно чуждыми мне. На войне я знал, что с такими делать. Но на дворе стоял мир — сложный, голодный, послевоенный. В нем надо было жить дальше...



И опять тень плена!

*Я думал, что многих из нас война
Сумеет не сжечь — так выжечь.
И время придет — наша ль вина,
Что труднее будет жить,
чем выжить!*
Сергей Наровчатов

Уволившись, я устроился на предприятие, производившее строительные материалы. Бывшая «оборонка» именовалась в Красногорске «Павшинским заводом № 1». Здесь-то я и возглавил правление заводского клуба. Меня восстановили в комсомоле (а вступил я в него перед отправкой на фронт в Бакинском пехотном училище) и вскоре избрали секретарем заводского комитета ВЛКСМ. Воодушевленный, я все свои силы бросил на культурно-массовую деятельность. Выбил деньги на киноустановку. Под кинозал отвели часть одного из цехов. И трофейные, и наши довоенные фильмы пользовались колоссальным успехом. Весь город ходил к нам в клуб. Но кино я относил к пассивному отдыху и потому всеми силами старался развивать активное начало как в самом себе, так и в других. Художественная самодеятельность, субботники, спортивные соревнования и прочее. Я организовал в Павшино секцию бокса, и мои ребята стали, по сути, народными дружинниками. Мы сумели укротить местную шпану. Впрочем, шпана — это мягко сказано. Настоящие бандиты, которые терроризировали общежитие, собирали с жильцов дань, глумились над девушками, наводили ужас на поселок.

Особенно выделялись своей наглостью и жестокостью два брата Тереховых — Сашка и Иван. Когда они почувствовали, что я организовал против них серьезное сопротивление, на меня было устроено настоящее покушение. Вначале решили задавить грузовиком. Когда же я отскочил на обочину, они набросились на меня. Причем Сашка был с ножом. Но я отбил, а вскоре подоспели мои ребята из секции бокса, за ними милиция. Братья были арестованы. Один получил три года. Другой — пять.

Однако у этой истории было продолжение. Через несколько дней собралась еще одна группа отпетых местных молодчиков и отправилась в наше общежитие «найти Шаккума и поквитаться за братьев Тереховых». Звонок коменданта застал меня в заводоуправлении. Пока вызывали милицию, я уже был на месте происшествия. Сразу понял, что угроза реальная: среди них оказались ребята с ножами, и свое преимущество они не стеснялись демонстрировать. Мне, скажу честно, помог боксерский опыт, хотя ситуация была не из легких. Я тоже пострадал: от сильного удара ногой образовалась гематома, которая напоминает о себе даже сейчас, спустя столько лет. Особенно по ночам.

Вовремя подоспел милицейский наряд, хулиганов арестовали. Ко мне стали приходить их родственники и уговаривать спустить это дело на тормозах. Но я тогда был непреклонен. Единственный компромисс, на который я пошел, был связан с Юрой Громовым — парнем, попавшим в группу нападавших почти случайно. На его проводы в армию пришли эти отморозки, крепко выпили и двинули в общежитие. По глупости Юра пошел за ними. Интересно, что попросил меня снять свои претензии к этому юноше не кто-то из родных, а Спиринов Иван Васильевич, замначальника милиции по уголовному розыску, бывший фронтовик, который вел дело. Он пришел ко мне домой этой же ночью и сказал: «Ты знаешь, Люциан, если бы не эта поганая история, мальчишка был бы уже в армии. И ты лучше меня понимаешь, что мы бы тогда на одного уголовника имели бы меньше. Он же из тюрьмы выйдет бандитом. Нам с тобой это нужно? А его родителям, которые ночей не спят, а стране нашей?»

Я все понял и написал, что никаких претензий к этому юноше у меня нет.

Каково же было мое удивление, когда спустя годы в одном ресторане, куда мы с коллегами-преподавателями зашли пообедать, ко мне подошел высокий, крепкий мужчина и с застенчивой улыбкой спросил: «Люциан Мартинович, вы меня не узнаете?» Я стал перебирать в памяти своих учеников, студентов, которых было к тому вре-

ность заведующего организационным отделом в Подольском горкоме ВЛКСМ. Честно говоря, меня это удивило и огорчило: чужой город, незнакомая среда, считай, все надо начинать сначала. Естественно, спросил: «А почему в Подольск, да еще не секретарем, а заворгом?»

В ответ услышал: «Ты в плену был, понимаешь. Мы прекрасно знаем, что там ты себя вел достойно. Но пойми, сейчас ситуация сложная. На секретаря нужна абсолютно чистая анкета...»

Я, признаюсь, возмутился и потребовал приема у первого секретаря обкома Красавченко. Тот меня выслушал и сказал: «Мы-то знаем, что ты наш советский парень, и делаем все, чтобы тебе помочь!» — «Не надо мне помогать, я буду писать в ЦК!» — «Да в том-то и дело, что мы на тебя бумагу из ЦК получили. Оказывается, не все тебе на заводе доверяют...» Я, честное слово, возмутился и тут же заявил: «Я напишу товарищу Сталину!»

Вот так, ни больше, ни меньше.

Красавченко как-то грустно на меня посмотрел и сказал: «Вот этого ты, пожалуйста, не делай».

Прошло немало лет, но я до сих пор благодарен ему за совет. Через два месяца после нашей встречи он, только что награжденный вторым орденом Красного Знамени за организацию участия московского комсомола в войне и восстановлении народного хозяйства, был арестован. Его реабилитировали только после смерти Сталина.

Что же касается автора письма в ЦК, то вычислить его было нетрудно. Незадолго до этого по моей инициативе был исключен из комсомола один мерзавец, отказавшийся от двух своих детей, причем родившихся от разных женщин.

Было ясно, что «бумага из ЦК» закрывала мне карьерный рост, но соглашаться на заворга (а значит, принимать ложь за правду!) я не мог. Поэтому поблагодарил комсомольских начальников и сказал, что останусь в Красногорске, буду работать, как прежде, в клубе завода.

Возвращаюсь домой, и тут же меня «радует» председатель месткома Баранов. Мнется, мнется, потом сообщает: «Ты знаешь, Люциан, мы нашли на клуб интересного человека. Тебя можем взять на ставку воспитателя, а работать будешь как бы освобожденным секретарем...»

Но мне не хотелось, да я и не умел работать «как бы»!

И потом, что за логика? Клубом руководить нельзя? А воспитателем быть можно! Вот что значит общество, построенное по номенклатурному принципу.

А тут ещё происшествие. У меня опять украли деньги. На этот раз — комсомольские взносы, которые я хранил в металлическом ящике в красном уголке общежития... Причем украл человек, которого я и наказать-то по-настоящему не мог. Несчастный выпивоха, потерявший на производстве пальцы руки, он все же сумел подобрать ключ к ящику...

В итоге я с деньгами все-таки выкрутился, вернул почти всю сумму. Но чем заниматься дальше, честно скажу, я после этой истории с анонимкой в обком решить для себя не мог.



Хрущев упал вместе со всеми...

*Это были авралы, и штурмы,
и встречные планы,
Громовое «даешь!»
и такое бессменное «есть!»,
А потом лихачи уходили туда,
в котлованы,
И всюю воровали —
и тачки, и цемент, и жесть...*

Николай Тряпкин

Не знаю, как бы дальше все сложилось, если бы я неожиданно не изменил свою жизнь в целом. В один из тех дней мне встретился подполковник Михаил Михайлович Тарасенко, тогда — начальник гаража. Он сообщил, что ему поручено организовать на заводе цех запасных частей к автомобилю ЗИС-5, тому самому, на котором, как многие считали, мы выиграли войну.

Тарасенко все четыре военных года ремонтировал с тылу автотехнику, образования специального не имел, но был истинным самоходком. Он стал меня убеждать: «Ты парень грамотный, энергичный, иди ко мне, ты быстро все освоишь. Это же профессия будет, а не какой-то профком!» Тем более я восстановил права шофера-профессионала, полученные мной перед отправкой на фронт. Главное, чем он меня взял — великолепными немецкими станками, которые цех только получил. С какой стороны к ним подойти, никто не понимал. «Та, говорят, в плену немецкий освоил, разберешься. Мы такое развернем!»

Я в смысле техники человек заводной, хотя, признаюсь, сомнения в том, что из меня получится классный специалист, были. Но история с кляузой, полученной ЦК, напоминание о плене, кража об-

щественных денег — все это требовало от меня, как я чувствовал, сильных ответных поступков. И уж если идти в рабочий класс, то и там стать первым среди лучших, не меньше!

«Здравствуйте, дорогие мама и Светик!

На этот раз вы меня перетерпели, и пишу первым. Ну, у меня отговорка одна — сильно занят. А у вас? Право, вы молчите слишком долго.

У нас все по-старому, без каких-либо существенных перемен. Работаю, учусь, и дела на производстве и в школе идут неплохо.

В комсомольской организации дела совсем плохи, после меня сменились два секретаря, да и третий уже просит освободить его. Мне очень больно видеть, как разваливается то, на что я потратил много усилий. Меня часто ругают за то, что я мало помогаю секретарю, не делюсь с ним своим опытом, а недавно парторг, которого недавно переизбрали, заявил мне, что я разваливаю работу комитета. Но мне кажется, что он сам понял, что зашел слишком далеко.

Дело в том, что и первый и сменивший его секретари вместо того, чтобы вовлечь меня в свою работу, отдаляли меня от нее. Тем более, что у второго по отношению ко мне совесть не совсем чиста (т.к. он являлся соавтором анонимной кляузы на меня в Московский горком).

Я относился к ним по-товарищески честно. Но поверьте, я не могу вложить в их работу свою душу, потому что оба погнались только за славой, а при первой же трудности спасовали. Сегодня был у секретаря горкома Яковлева. Он сказал, что в октябре у нас будет проводиться отчетно-выборное комсомольское собрание, и мне придется, наверное, еще поработать секретарем комитета. Если это так, то я даже представить себе не могу, как это будет хорошо. Ведь ты только подумай, несмотря на то, что в цехе меня уважают, я чувствую, до сих пор чувствую недоверие к себе со стороны вышестоящих комсомольских руководителей. Но я смогу доказать, что мне можно доверять, и я добьюсь своего места в жизни!

15 апреля 1949 года».

Итак, я стал зуборезчиком, изготавливал шестерни для такой важной запасной части автомобиля, какой является до сих пор коробка передач. Видно, «Михалыч», утверждавший, что «на шестернях мир вращается», сумел разглядеть во мне что-то еще, кроме бурной общественной активности.

Я довольно быстро достиг 7-го разряда универсала-станочника. Это уже, считай, рабочая «белая кость». Мой заводской «арис-

тократизм» усиливался тем, что я не только сам учился в вузе на заочном, но и подрабатывал не чем-нибудь, а преподаванием в школе.

Все это было вполне в духе того времени, наполненного динамикой, энергией жизни, желанием многих людей изменить страну, выстроить ее как можно скорее, а заодно выстроить и себя. Тогда личное и общественное удивительно совпадали. А стремление к скорости перемен приводило даже к казусам.

«Здравствуйте дорогие мама и Светик!

Работой я очень доволен, к тому же освоил специальность шлифовальщика, сдав экзамен на 5-й разряд. Работаю на сложных шлифовальных станках типа Cintinnati, Maneester. Первым на заводе освоил английский шлипешлифовальный станок. Недавно мне предложили работать мастером, но я отказался — это помешало бы учебе. Да и мне кажется, что у меня еще мало производственного опыта. В школе во второй четверти успехи были неважными из-за частых пропусков. Меня немного пробрали на комсомольском собрании, пришлось выступить и дать слово — в третьей четверти не иметь посредственных оценок.

Сильно мешает неважное состояние нервов и переутомление. Врачи велют лечиться, но пока нет времени...

3 февраля 1950 г».

Однажды, обучая ученика, я сделал неосторожное движение, и несколько зубьев на уникальной модульной фрезе сломались. Стоявший рядом Тарасенко понял, почему это случилось: я до этого занимался настройкой другого станка, входящего в технологическую цепочку, и тридцать шесть часов не выходил из цеха. Станок был нужен для борьбы за переходящее красное знамя, как тут было остановиться и пойти домой отдыхать! И поэтому, когда полетели зубья, начальник цеха стал меня успокаивать: «Иди, поспи. Нервные клетки не восстанавливаются».

А работа и впрямь требовала железных нервов. Потому что главным в то время были ритм, скорость, план. Не кто лучше, а кто быстрее — вот что двигало передовиками промышленности. Кто больше нарежет болтов, шестеренок, клапанов за смену.

Это массовое желание — сделать больше, оно связано с серьезной и главной идеей послевоенных лет — как можно скорее восстановить страну, ее народное хозяйство. Из планов восстановления родилось движение новаторов производства. Сейчас уже мало кто помнит, что такое движение «скоростников» и кто такой, скажем, Генрих Борткевич.

Это был ленинградский токарь, который в феврале 1948 года стал известен всей стране, потому что за смену выполнил 13 дневных норм. Многим это казалось невероятным. В Ленинград зачастили делегации специалистов. Борткевич работал при многочисленных наблюдателях, повторяя и превышая свои предыдущие показатели. Это был не голый азарт, а настоящий патриотический подъем, вполне понятный в те годы многим, в том числе и мне. Герман Борткевич в токарный цех пришел с фронта, где получил 13 боевых наград, и теперь его руки буквально чесались по мирной работе.

Конечно, главным секретом было использование разных технических новшеств, например, резцов из твердых сплав, позволяющих значительно повысить скорость резания. Поэтому в движение включились инженеры, технологи, ученые. Нередко они входили в заводские бригады, дневали и ночевали в цехах, подготавливая тот или иной рекорд. По всей стране пошло соревнование новаторов. Ответом Москвы Ленинграду стал токарь Павел Быков, который развил свое мастерство еще на уральском «Танкограде». В Челябинске он начинал с того, что несколько дней стоял за спиной опытного токаря, затем сидел за собственными расчетами. А в Москве уже стал лауреатом Сталинской премии, одним из лучших новаторов страны.

Однажды они с Борткевичем встретились, подписали договор о личном соцсоревновании, что еще больше подогрело участников движения. Однако для его серьезного развития одних пропагандистских мероприятий было мало. Полуголодным труженикам тех лет требовалось и материальное стимулирование. Но чем выше становились показатели новаторов в разных отраслях промышленности, тем быстрее снижались расценки. Тогдашняя административно-командная система не могла и не хотела делать лишних вложений в производство. Проще было опираться на проверенные методы. А методы эти были не пряником, а кнутом. Тех, кто не справлялся с планом, могли обвинить в саботаже и вредительстве. Если где-то и были попытки внедрения хозрасчета, то основным наказанием был штраф за недостаточную экономию ресурсов.

Главным рычагом подъема производства оставался аврал, а ведущим лозунгом — проверенное «Даешь!».

Но этот призыв, помимо того, что призывал к голому энтузиазму, имел еще одну отрицательную сторону. Нередко он требовал отречения от науки, замены здравого смысла безумным азартом. Лично я восторгался этими рекордами и тоже мечтал о всесоюзной славе. Но чем больше обрастал техническими знаниями, тем чаще сомневался

в том, что быстрота — это главное. Кроме книг и учебников по металлообработке я изучил все инструкции к своему импортному станку. После чего задумался: «Почему те, кто строил этот прекрасный механизм, написали столько предупреждений тем, кто будет на нем работать? Они что, не могли предполагать, что появятся такие, как Борткевич? И вообще интересно, есть ли в Америке движение новаторов...»

Так я все яснее понимал, что есть предел скорости резания и превышать его нельзя. Вот на этом пределе старался работать.

А мой Михалыч, он же подполковник Тарасенко, четыре года вкалывающий в тылу под одним лозунгом «Все для фронта, все для победы!», думаю, не очень задумывался над проблемами сопромата, металловедения, теории машин и механизмов.

Как-то он пришел в цех и стал прохаживаться туда-сюда, то и дело бросая взгляды в мою сторону. Потом не выдержал, подошел и крикнул прямо в ухо: «Что, Люциан, филонишь? Смотри, не засни с такой скоростью!»

Пришлось остановить станок и начать терпеливо объяснять директору, что быстрее резать нельзя. Но до него не доходило. Для него это была проблема не технологическая, а политическая! И в этом был корень многих наших бед. Всюду — на производстве, в сельское хозяйство, в науку то и дело возникали попытки обмануть природу, опровергнуть тот или иной физический закон. Одна «лысенковщина» чего нам стоила!

Не могу не вспомнить еще одну знаменательную заводскую историю, которая связана с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Я бы назвал ее ярчайшим проявлением волюнтаризма в производстве или попыткой внедрения партийного руководства в материаловедение.

Дело в том, что наш Михалыч одно время сильно увлекся одной модной идеей — обработкой металлических заготовок не с помощью резцов, а с помощью плавления. Согласно этой теории, надо было изготовить устойчивый к высокой температуре диск и задать ему такие обороты, чтобы он не резал металл, а буквально плавил его.

При подсчетах на лабораторных моделях все получалось тип-топ. Но пришла пора заводских испытаний, на которые прибыл с энтузиазмом воспринимавший все новые идеи тогдашний первый секретарь МК КПСС Хрущев, который привез с собой целую свиту специалистов.

Я в цехе во время эксперимента не был. Но из комнаты комитета комсомола, в которую зашел, услышал звук, напоминающий мне вой лагерьной сирены. Это набирало немыслимые обороты плавиль-

ное чудо. Звон становился все выше, выше... Потом вдруг страшный удар, звон разбитых стекол, крики.

Я побежал в цех, навстречу мне, еле поспевая за обсыпанным штукатуркой Хрущевым, неслась толпа таких же запыленных гостей. Директор завода Беляев вприпрыжку сопровождал первого секретаря и пробовал что-то объяснить ему, но где там!

Уже садясь в машину, Хрущев сказал директору пару-тройку тех самых слов, которыми люди уровня Никиты Сергеевича обычно осуществляли технический и исторический прогресс.

Я подошел к начальнику «термички» Мокерову, невозмутимому волжанину, и спросил, что случилось.

«Что-что... Испытывали. Начальство говорит: «Включай!» А монтер говорит: «Погоди, проверить надо!» Начальство снова: «Включай!», а монтер: «Погоди, проверим...» Тут директор не выдержал и дал команду включать. Ну, оно и шандарахнуло. Все на пол, включая Никиту Сергеевича. Только мы с монтером стоим, и он мне тихонько: «Я ж говорил: проверить надо было...»

Смешной случай. Но показательный. Начиналась холодная война, и вместе с ней — соперничество двух систем. Нам страшно хотелось вырваться в лидеры, доказать, что мы «впереди планеты всей». Я-то считаю, такое стремление диктовалось искренними патристическими чувствами. Но их не всегда сопровождали рассудок, расчет, наконец, элементарное знание.

Хрущев был ярчайшим носителем такого национального тщеславия. В него не только мгновенно вселялись чьи-то новые идеи. Он тут же доводил их до крайности. Классический пример, конечно же кукуруза, которой Никита Сергеевич собирался засеять весь Советский Союз от Черного до Баренцева моря и превратить это растение в универсальный «вечный хлеб». Чем это кончилось — хорошо известно.

Хотя я бы не настаивал на том, что Хрущев в своих инициативах был чистым утопистом. Я сам видел, как выращивали кукурузу в подмосковном колхозе «Заветы Ильича», где председательствовал известный в стране человек Григорий Исаевич Алергант. По примеру французов холодные посевы здесь накрывали специальной пленкой. По мере роста растений и наступления тепла пленка плавилась и превращалась в удобрение. Это помогало в наших российских широтах получать не только зеленую массу на силос, но и кукурузные початки.

И все же главным в те времена был лозунг «Догнать и перегнать!». А план, где бы ты ни трудился, надо было действительно давать любой ценой.

Однажды технолог цеха ошибся в расчетах, и токари в итоге наточили груды бракованных шестерен. Но признавать это было подобно смерти. Поэтому решили слегка отойти от госстандарта. Забыли, видно, подумать, что ГОСТ не дураки разрабатывали. Естественно, редукторы с измененными параметрами работать не хотели. Когда же я, не выдержав, пришел к Тарасенко и сказал, что все это вредные глупости, это стало началом нашего серьезного конфликта.

«Ты что, самым умным себя считаешь? — побагровел он. — Может быть, ты уже наш завод перерос? Тогда так и скажи!»

«Я скажу, что дурью заниматься не буду. Кстати, у меня есть расчеты по методике Корнилова, по которым можно, не нарушая ГОСТа, выполнить план».

Но в тот момент Михал Михалыч уже ничего о расчетах слышать не хотел: «А мы, значит, все тут дураки? Ты знаешь, что от нас требует партия? Темп и еще раз темп. Надо поднимать родину из руин!»

«Только не такими методами», — бросил я и вышел. Точнее — ушел с завода.

Увольняясь, я тогда не мог предположить, что специалисту моей квалификации и моего общественного опыта будет трудно устроиться на работу. Но на это ушло несколько месяцев. Получалось так — вначале меня брали с великой охотой, а вскоре поступал звонок от первого секретаря горкома партии Калинина, и принявшему меня в штат сообщалось, что доверять мне нельзя, что я темная, непроверенная личность, был в немецком плену и т. д.

Смущаясь, извиняясь, искренне сожалея, меня увольняли.

Однажды по рекомендации ЦК профсоюза меня взяли-таки воспитателем в строительно-монтажное управление. Но и здесь радость была недолгой. Первый секретарь горкома не счел за труд «выйти звонком» на секретаря ЦК профсоюза и поведать всю «правду» обо мне.

Поняв, что верхи мне не помогут, я пошел в низы. Кто-то из знакомых ребят посоветовал поставить бутылку человеку, который поможет мне устроиться на предприятие с не очень романтическим названием «Завод сухой гипсовой штукатурки».

Но даже туда меня оформили на должность, достойную лишь «чекушки» — учеником токаря. Поэтому с первого дня мне было нетрудно выполнять несколько дневных норм, что давало неплохой заработок. К тому же, еще не имея диплома, я стал преподавать в школе.



С кем вы, мастера номенклатуры?

*Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком — просто?*

Александр Межиров

На один из моих уроков вдруг неожиданно явилась комиссия во главе с инструктором горкома партии. Послушали, сказали какие-то любезные слова и удалились на совещание. Потом вышла наша «математичка» и сказала: «Знаете, Люциан, все неплохо. Но есть мнение, что вам хорошо бы курса два педагогического закончить...»

Я как-то сразу засомневался в том, что мне методологических знаний не хватает. И почему преподавание по предмету оценивает инструктор горкома партии? Тут же вспомнилась моя непродолжительная работа в профтехучилище мастером-воспитателем. Там я тоже услышал ненавязчивый совет: «На заводе практику у ребят вы вести можете, что же касается воспитания...»

Когда я понял, в чем дело, мой взрывной характер заставил меня добиться встречи с секретарем горкома, от которого я и услышал: «Ничего не могу поделать, к коммунистам у нас доверия больше. Особенно когда речь идет о детях...»

Кстати, о детях. Когда спустя несколько лет племянница этого секретаря будет поступать в институт, он сам позвонит, попросит меня прийти и, встречая прямо на пороге своего кабинета, начнет: «Извините, но время было такое...»

Да, в этом он был прав, время было непростое. Это весьма убедительно подтверждает история о том, как меня принимали в партию.

Когда вступал в кандидаты, завуч Глафира Михайловна говорила обо мне исключительно в превосходной степени. Но вот наступил день приема в члены партии, и та же Глафира Михайловна произнесла: «Товарищи, я бы хотела обратить ваше внимание на то, как волновался Люциан Мартинович, когда мы принимали его в кандидаты, и как самоуверенно он ведет себя сейчас! Вероятно, решил, что его членство в наших рядах — дело решенное. Но так ли это, товарищи? Вы все помните, недавно шел фильм «Киевлянка», где мы увидели, до каких высот добрался человек, впоследствии оказавшийся предателем, врагом...»

Вот так! Мой плен ходил за мной неотступно.

Секретарь парторганизации Тимофей Парфентьевич, украинец, подскочил: «Глафира Михаловна, да вы шо!? Считаете, что Люциан шпион, враг народа? Тогда ж почему вы раньше молчали, когда мы его в кандидаты брали? Да он же день и ночь на наших глазах, завсегда в школе!»

Закончилось тем, что первичная организация меня приняла, но три человека воздержались. После этого я был приглашен на утверждение в горком партии. И там секретарь горкома в ходе обсуждения моей кандидатуры спросила: «Люциан Мартинович, первичная организация приняла вас единогласно?» — «Нет, — сказал я, — Трое воздержались» — «А кто конкретно?» Я назвал фамилии. Тогда секретарь показала членам горкома, а затем и мне, письмо, в котором несколько коммунистов моей школы писали, что они голосовали за мое принятие, но если бы им пришлось голосовать по моей кандидатуре вновь, то они были бы категорически против.

Подлость заключалась в том, что это были те самые трое воздержавшихся. Но они солгали, сообщив в горком, что голосовали «за». Потому что «воздержаться» означало позицию «ни рыба, ни мясо». А они, дескать, верили мне, пока им не открылась страшная правда.

Горком меня утвердил. Но что делали с людьми недоверие и страх! Впрочем, не все этому поддавались. На этом же заседании горкома, членом которого был Михал Михалыч Тарасенко, было зачитано, кто давал мне рекомендации в партию. И надо было видеть изумленное лицо моего бывшего директора завода, когда он узнал, что уже после моего скандального ухода с предприятия рекомендацию в партию мне дал его главный инженер Несвижский Оскар Абрамович. По тем временам (да еще с такой фамилией!) выражать доверие человеку, побывавшему в плену, — это был поступок.

Несвижский выражал мне не только политическое доверие. Он поручал мне самые сложные работы. И я старался не подводить. Горжусь тем, что в одном из павильонов ВВЦ (ВДНХ) до сих пор есть металлические двери, изготовленные мною по чрезвычайно интересной и сложной технологии. А в здании бывшего Госплана в Дьяковском переулке до сих пор работают лифты непрерывного действия, к механизмам которых я имею самое прямое отношение.

Конечно, выражение «рабочая гордость» стало пустым газетным штампом. Но, по себе знаю, такое чувство в нас существует, и оно согревает душу, делает жизнь ненапрасной...

Я уже стал директором школы, когда в один прекрасный день ко мне приехал ректор Всесоюзного заочного инженерно-строительного института. Звали его Зеньков Иван Степанович, в молодости он был чекистом и моряком. Неожиданный гость предложил мне организовать учебно-консультационный пункт института.

Так начиналась моя деятельность в системе высшего образования. Она включала в себя не только преподавание, но и строительство, ремонт, подготовку аудиторий, формирование групп. Иван Степанович при первой же встрече заверил, что в зарплате я не потеряю, получу должность старшего преподавателя.

Я тогда сказал, что меня не столько волнует зарплата и должность, сколько возможность заниматься научной работой. Дело в том, что у меня была возможность получить через оптико-механический завод один из экспонатов с выставки, проходившей в Финляндии — электронный микроскоп. По тем временам это было чудо науки и техники.

Зеньков обрадовался и заверил меня, что условия для научной работы будут.

Его уважали, любили, побаивались. Но у Ивана Степановича была небольшая слабость, он не без удовольствия слушал комплименты подчиненных, а те иногда не бескорыстно этим пользовались. Я стал свидетелем этого славословия на первом же партсобрании. Чаще других солировал в хоре подхалимов начальник отдела кадров. Однажды, именно после его медоточивой речи мое терпение лопнуло. Я взял слово и заявил, что слушать такое противно, а произносить — стыдно и даже вредно. «Вы-то, Иван Степанович, — обратился я к ректору, — как такое терпите?».

Наступила гнетущая тишина. Иван Степанович конфузливо крикнул, но по нему было видно, что мой гневный спич достиг цели.

Зеньков на меня не обиделся, а вот лидер группы подхалимов, главный кадровик и он же, как тогда было заведено, «особист в штатском», затаил обиду.

Его месть была вполне в духе времени. Спустя годы (а в институте я проработал тридцать лет), когда отмечался очередной ленинский юбилей, кадровик вычеркнул мою фамилию из списка на награждение памятной медалью, которую, как хорошо известно, вручали в массовом порядке. Причем в то время меня в институте уважали и ценили. Но кадровик знал, чем всегда можно безнаказанно мотивировать свое отношение ко мне: «За то, что войну в немецком бараке пересиживал, медалей с профилем Ильича не дают!»

Я не обиделся, а опечалился. Потому что на дворе уже стояли семидесятые годы.

Однажды на улице я столкнулся Тарасенко, который встрече обрадовался, был приветлив, стал подробнейшим образом расспрашивать — где я, чем занимаюсь. Но когда узнал о моей преподавательской работе, сразу как-то загрустил.

А позже ребята с завода объяснили мне причину этой грусти. Дело в том, что Тарасенко был самородок. Он освоил машиностроение опытным путем, еще мальчишкой помогая своему дяде строить мельницы. Но в один прекрасный момент он понял, что надо учиться. И не только ему — многим заводским руководителям, которых нередко назначали на должности, полагаясь всего лишь на их фронтальной или тыловой опыт.

Тарасенко чувствовал, что жизнь идет вперед и без образования все труднее и труднее. Он создал специальную группу, которая должна была посещать вечерние лекции в нашем институте. Но когда ему стало известно, что руководить учебно-консультационным пунктом и читать лекции по физике буду я, его самолюбие взяло над ним верх. Он группу организовал, но сам от занятий отказался. Такая вот мужицкая гордость...

Прошло еще немало времени. Михал Михалыч покидал завод и уезжал из Красногорска. Проводы затеял на лоне природы, в профилактории завода. И я вдруг получил от него персональное приглашение на этот пикник. Там-то и состоялся наш с ним последний разговор. Он отозвал меня от общей компании и тихо сказал: «Я знал, Люциан, как тебе дорог завод. Почему же ты ушел?» — «Потому что вы сказали, что я возомнил себя умнее всех...» — «Но ты же сказал, что мы занимаемся глупостями, и обозвал меня дураком. Тебе ли не знать, что такое для нас план. Не выполним — пришьют вражескую

вылазку. А знаешь ли ты, что мы воспользовались твоими расчетами, чтобы устранить ошибку технолога. Спасибо тебе...»

Мы обнялись и простились со слезами на глазах.

Тарасенко уже нет. Но в моей памяти он навсегда останется прекрасным человеком. Просто то время делало с нами удивительные вещи. Авральная экономика, безжалостная система производства наделяли людей чертами бездушных роботов. И только оказавшись за пределами цеха, завода, шахты, они вдруг возвращались к нормальным отношениям, пытались понять друг друга на языке человеческих чувств и отношений.

Впрочем, такое раздвоение в еще большей мере касалось общественной, политической жизни. В ней человек порой оказывался заключенным в рамки таких условностей, таких страхов, о которых мне сегодня вспоминать и смешно, и грустно.

Кстати, с группой, которую создал Михал Михалыч, связана именно такая история.

Из этой группы в институт был зачислен некогда мой приятель, бывший слесарь Анатолий Ширибордин. Когда мы работали на заводе, это был, как мне казалось, вполне нормальный парень, но в институте отношения наши испортились, и вовсе не потому, что я был преподаватель, а он студент.

Дело в том, что семья Ширибордина жила в одной квартире с семьей известного ныне киноактера и певца Димы Харатьяна. С его родителями, особенно с отцом, Вадимом Владимировичем, я дружил и дружу до сих пор. Этот хороший, серьезный, основательный человек работал в единственном в Союзе экспериментальном институте станкостроения и одновременно преподавал в нашем ВЗИСИ теорию машин и механизмов. Вадим много сделал для воспитания и развития Димы, единственного сына, который в детстве дружил с моим Витькой. Мы часто собирались компанией, я играл на аккордеоне, все пели. Ах, сколько тогда звучало песен! Не с эстрады, не с экрана телевизора. А за столами, на которых в то время не бутылка была главной, а именно песни, интересные разговоры. Кто-то скажет, что это уже старческое брюзжание. Но я по Диме Харатьяну сужу, он до сих пор с восторгом вспоминает наши посиделки. Поэтому смею предположить — в его эстетическом воспитании есть и моя скромная заслуга.

Но тогдашнюю эстетику нашей жизни сильно портил сосед семьи Харатьянов Ширибордин, который отводил душу не песнями, как мы, а периодически устраивал скандалы жене на общей кухне.

Всякий раз Харатьян-старший не выдерживал и вмешивался, призывая соседа к благоразумию.

Парадокс же состоял в том, что, несмотря на мерзкое поведение в быту, буйный сосед был уже не Толей, а Анатолием Глебовичем, секретарем заводского парткома. А это был и мне знак: мол, перед тобой, рядовой коммунист Шаккум, не просто студент-заочник, а товарищ Ширибордин.

Сегодня хочу честно признаться, что я ему в учебе помогал. Можно сказать, тащил к диплому. Но не потому, что он стал партийным боссом, а в силу того, что начинали когда-то в цехе вместе, дружили...

Однако Анатолий Глебович считал, что его статус обеспечивает ему, чуть ли не «красный» диплом. Это была ошибка.

На защите дело дошло до того, что я уговаривал комиссию повысить Ширибордину оценку. Какой там диплом с отличием, я попросил не ставить тройку! Меня не послушали. Отдаю должное нашей комиссии, принципиальным и смелым преподавателям, они остались объективными. Секретарь парткома в тот год стал единственным дипломником, защитившимся на «удовлетворительно».

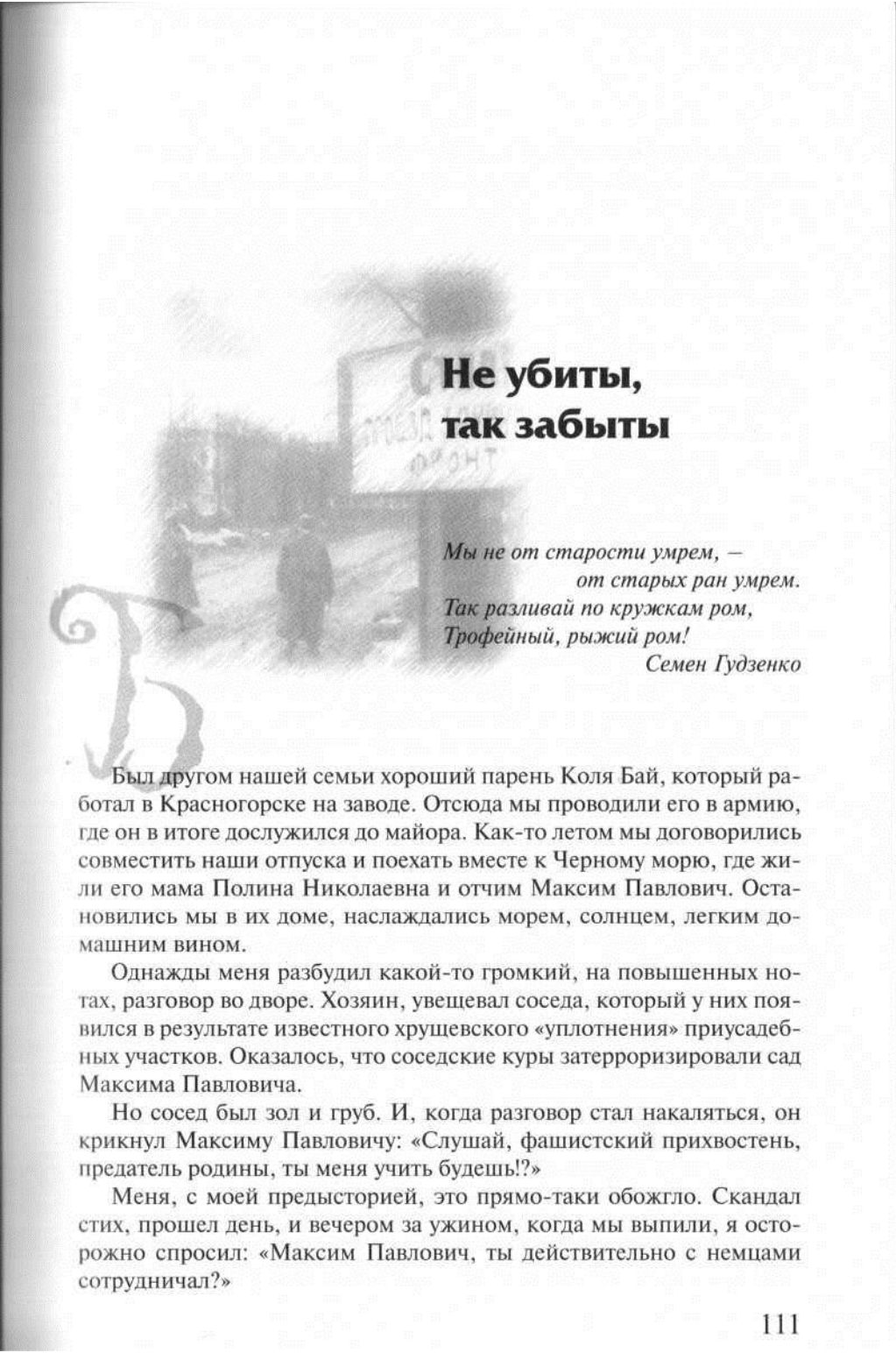
Этого Анатолий Глебович не забыл и не простил, когда пошел в гору по партийной линии — стал секретарем горкома. Это он приложил массу усилий для того, чтобы лишить наш институтский учебно-консультационный пункт здания, строительство которого я с таким трудом пробил. Я прорывался в самые высокие кабинеты и убеждал разных руководителей в том, что заочное образование — это главное, что могло в то время поднять производство. И я уверен в своей правоте до сих пор. Тогда 350 руководителей только Красногогорского механического завода получили в нашем институте высшее образование.

Помню, как в горкоме удивлялись моим речам о том, что с годами заочная форма обучения должна отмереть, исчезнуть. «Как же так? — спрашивали меня. — Вы так стараетесь, чтобы на заводе было как можно больше заочников, и сами же предрекаете отмирание У КП?»

Но я старался и верил в эффективность такой учебы, когда время требовало получать образование, не отрываясь от производства, на марше. И мы это делали. А такие, как Ширибордин, нам мешали, мстили за свою несостоятельность. Вершиной его остроумия была шутка: «Ну, как там ваш заборостроительный институт?! Ха-ха...»

Смеха, конечно, мало, потому что результатом его «деятельности» стало, в конце концов, закрытие У КП.

Вот такие полуграмотные троечники, пещерных нравов людишки вырывались в партийные начальники, торжествовали над честными и порядочными, образованными и талантливыми, закрывали им дороги к заветным целям в управлении производством, в науке, искусстве, образовании. Это они придумали партийный ценз, требовавший обязательного членства в КПСС для тех, кто претендовал на те или иные значимые в обществе должности. Это они плодили моральное лицемерие, двойную мораль и в целом компрометировали, извращали социалистическую идею, которая, как я считаю, в принципе содержит в себе немало понятных и близких людям моральных ценностей и установок.



Не убиты, так забыты

*Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
Трофейный, рыжий ром!*

Семен Гудзенко

Был другом нашей семьи хороший парень Коля Бай, который работал в Красногорске на заводе. Отсюда мы проводили его в армию, где он в итоге дослужился до майора. Как-то летом мы договорились совместить наши отпуска и поехать вместе к Черному морю, где жили его мама Полина Николаевна и отчим Максим Павлович. Остановились мы в их доме, наслаждались морем, солнцем, легким домашним вином.

Однажды меня разбудил какой-то громкий, на повышенных нотах, разговор во дворе. Хозяин, увещевал соседа, который у них появился в результате известного хрущевского «уплотнения» приусадебных участков. Оказалось, что соседские куры затерроризировали сад Максима Павловича.

Но сосед был зол и груб. И, когда разговор стал накаляться, он крикнул Максиму Павловичу: «Слушай, фашистский прихвостень, предатель родины, ты меня учить будешь!?»

Меня, с моей предысторией, это прямо-таки обожгло. Скандал стих, прошел день, и вечером за ужином, когда мы выпили, я осторожно спросил: «Максим Павлович, ты действительно с немцами сотрудничал?»

Он весь вострепнулся, покраснел, стал говорить, что это полная чушь. А потом поведал о том, что в действительности с ним было в годы войны.

Война застала его на новороссийском заводе, где он работал бригадиром одной из двух соревнующихся между собой ударных бригад. Коллега-бригадир был всем хорош, но уж больно завистлив к чужим победам.

Город уже бомбили немецкие самолеты, когда в один из обеденных перерывов услышал Максим Павлович разговор молодых ребят, которые с необъяснимой радостью гадали, когда же закончится война — на следующей неделе или чуть позже. Тогда он не выдержал и сказал: «Ребята, не стоит так веселиться, честное слово. Война будет затяжной и тяжелой. Вы сами подумайте, нас бомбят уже который день, а наших самолетов даже не видно. Нам предстоит работать на длительную оборону...»

На следующий день его арестовали, отправили в Новороссийск, где чрезвычайная тройка приговорила его «за распространение панических слухов» к восьми годам лагерей и пяти годам поражения в правах. На лесоповале он травмировал ногу, стал инвалидом. Но, вернувшись, легкого хлеба искать не стал, устроился на каменоломню и со своей участью, можно сказать, смирился.

Когда я эту историю выслушал, тут же сказал ему: «Максим Павлович, ты должен, пока я здесь, изложить все в письменном виде, и я это письмо возьму с собой в Москву». Он попробовал возразить, мол, стоит ли шум поднимать, когда все уже позади. Но я на это одно только выдал: «Значит, хочешь, чтобы всякий хам и жлоб чувствовал себя лучше тебя?»

Это подействовало.

Письмо я отнес в приемную Верховного Совета СССР.

Максима Павловича реабилитировали полностью. Вручили ему медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», выплатили неплохую денежную компенсацию. Деньги, конечно же, для их скромной жизни оказались нелишними, но что они в сравнении с восстановленным добрым именем?

Другая история произошла там же, на Черном море, в другой мой отпуск. Тогда я познакомился с бывшим военным летчиком, пенсионером, который увидел в моей машине спиннинг и подошел, еще раз подтвердив пословицу: «Рыбак рыбака видит издалека».

Порыбачили мы с моим новым знакомцем, Владимиром Петровичем, славно. А когда я довез его домой, он вдруг смутился и сказал: «Извините, не могу пригласить вас, жилищные условия не позволяют».

Условия оказались не просто трудными, а изумляющими. А летчик, герой войны, жил с женой, болевшей открытой формой туберкулеза, даже не в комнатухе, а в каком-то простенке между домами, куда поместилась лишь кровать и маленький столик.

Это письмо я отвез в газету «Известия».

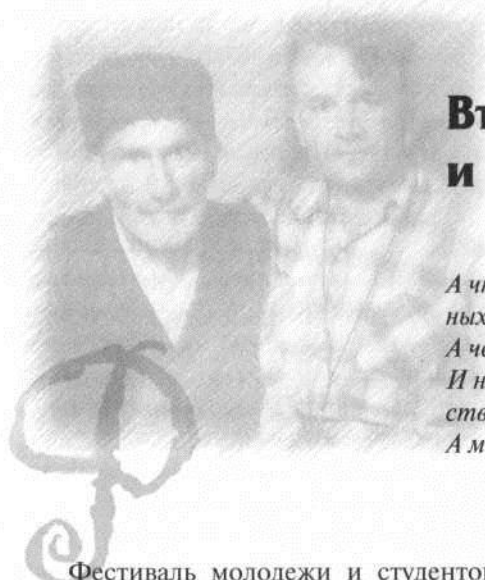
Владимир Петрович из летчиков, можно сказать, перешел в моряки. Он получил однокомнатную квартиру в доме на набережной. Ее окна смотрели на вечно прекрасное Черное море...

Думаю, что в обоих случаях, о которых рассказываю, сработала, прежде всего, атмосфера тех лет. Хрущевская «оттепель», особое уважение к прессе, связанное и с политическими переменами, и с тем, что зять Никиты Сергеевича Алексей Аджубей возглавлял влиятельнейшие «Известия». Лично я не знаю случаев, чтобы к подобным судьбам и бедам кто-то прислушался бы сегодня.

Ситуация, в которой оказались нынче ветераны, инвалиды, ранее получавшие хотя и минимальные, но все же льготы, не может не вызывать боли и тревоги. Понятно стремление власти оптимизировать новые для России рыночные отношения, добиться, чтобы деньги вообще и налоги в частности стали эффективным инструментом развития экономики. Но отмена многих льгот почему-то не улучшает жизни тех, кто эти льготы прежде заслуживал, а напротив, усугубляет их положение. Тогда возникает вопрос почти библейский — реформы для человека или человек для реформ?

Нет пока ответа, способного обрадовать простых людей, особенно ветеранов войны.

Получается, что войну выиграли мы, а победителями чувствуют себя те, с кем мы воевали. Те же немцы, жизнь и нравы которых я все-таки неплохо знаю.



Второй отец и другие

А что в этих людях таинственных?

А чем они нынче полны?

И нет ли страстей в них воинственных,

А может, уколов вины?

Булат Окуджава

Фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве. Меня включили в судейскую коллегию по боксу. Зная, что я немного говорю по-немецки, мне поручили свозить группу участников в Загорск. По дороге я решил узнать у немцев, не могут ли они найти адрес моего знакомого в Германии. Того самого Хайнляйна, у которого я работал, находясь в плену. Услышав фамилию, немцы в один голос сказали, что проблем не будет, это очень известная в Германии семья. Так через некоторое время получил письмо от моего «хозяина» Христиана. Он рассказывал о том, что дела у него после войны пошли неплохо, что они с братом ведут серьезный бизнес. Я написал о себе. А через некоторое время меня пригласили на беседу сотрудники КГБ, которые были предупредительно вежливы и ничего не имели против нашей переписки. Тем не менее просили проявлять бдительность, так как мой адресат проживал не в дружеской ГДР, а в бундесверовской ФРГ. Заодно просили побольше рассказывать в своих письмах о преимуществах советского образа жизни.

Переписывались мы с Христианом довольно долго. Потом связь оборвалась.

А затем произошло следующее. Мы с моим сыном Мартином возвращались самолетом из Астрахани, где были на рыбалке. В аэропорту познакомились с группой рыбаков-немцев. С ними был руководитель турфирмы господин Хане, который и предложил мне заняться таким неожиданным бизнесом — организацией рыбалки для зарубежных туристов, преимущественно немцев.

Сын поначалу отнесся к этому с определенным скепсисом. Но, тем не менее, дело завертелось. Меня пригласили в Германию, мы заключили договор, и вот уже первые немецкие рыбаки потянулись в самые экзотические российские места. Фирма «Тайга», которую я создал, занималась организацией охоты и рыбалки для иностранцев в самых разных регионах России.

Часто общаясь с немцами в неформальной обстановке, — как в России, так и в Германии, я пришел к твердому убеждению, что немцев до сих пор не оставляет чувство национальной вины за Вторую мировую войну, за то, что они позволили фашизму придти к власти и развязать страшную бойню, ввергнуть в катастрофу собственную страну.

Мы о многом с ними говорили во время наших поездок. Я рассказывал им о своем прошлом, о Германии конца войны, о тех немцах, которые проявляли к нам, советским военнопленным, настоящее сострадание, помогали переносить тяготы неволи. Во время одной из встреч я вспомнил своего «хозяина» и без всякой надежды спросил немецких гостей — не знает ли кто-нибудь из них семью Христиана Хайнляйна.

«Ну, как же! — воскликнул один из слушателей. — Это очень известная фамилия. Я обязательно пришлю вам все их координаты».

Через некоторое время я получил письмо из Байерсдорфа. Теперь уже от сына моего хозяина, которого, как и отца, звали Христианом. Так моя дружба продолжилась. Только дружил я уже со следующим поколением этой семьи, которое было не менее доброжелательным, открытым, гостеприимным, чем был Христиан-старший.

С его сыном мы ездили на охоту в Австрию, побывали в нескольких местах моего пребывания в плену. Я еще раз убедился, насколько серьезно и глубоко немцы переосмыслили то свое прошлое, которое свело нас в страшной войне. Сегодня они не только испытывают раскаяние — у Германии стойкий иммунитет на любые бациллы фашизма.

Поэтому мне, прошедшему войну, дико видеть российских бритоголовых пацанов, с пеной у рта орущих фашистские лозунги. Не хочу впадать в банальности вроде вопроса «За что воевали?!», но ду-

маю, что это явление не только более опасное, чем нам кажется, но более серьезное, сложное, чем мы пытаемся его представить.

Помню, как первый раз после войны приехал я в Баку. Это был 1949 год. Не знаю, может быть, реакция моя после пережитого была слишком обостренной. Но когда я увидел толпы молодых мужчин, как нынче говорят, «тусующихся» на центральных улицах, в открытую покуривающих анашу, я не мог отделаться от мысли — может, потому, что вас не было в окопах, мы и получили такую трагическую войну!?

А когда человек курит анашу, у него еще и смех меняется, становится каким-то дурацким. И это еще больше меня выводило из себя. Наверное, я был не прав, подозревая всех встречных в том, что им плевать на страну, на то, что ради их спокойствия складывали головы миллионы людей. Наверное, надо стыдиться, что на мою неприязнь в то время влияла и национальная принадлежность людей, но я признаюсь в этом не ради красного словца. Конечно же, это не было моим отношением ко всем азербайджанцам, к прекрасному героическому, доброму и благородному народу. Как я мог быть националистом, если в свое время именно азербайджанец стал, могу прямо сказать, моим вторым отцом.

Эта история началась в 1930 году, когда отец отправился охотиться на морской лиман. Была очень холодная погода, такая, что полупресная вода местами превращалась в лед. Но папа, человек азартный, тем не менее остался на ночь, чтобы поохотиться на зорьке.

Утром он услышал где-то рядом, за кустами, крик человека. Оказалось, у охотника, который тоже оставался на ночь, неожиданно перевернулась лодка, и он очутился в ледяной воде. Отец бросился его спасать, вытащил, привел в чувство, влил в него, несмотря на сопротивление, стакан водки.

Сопrotивлялся спасенный потому, что в силу религиозных убеждений пить не мог.

Его звали Ага Хусейн. Он был азербайджанец.

Через несколько дней к нам домой приехали пятеро братьев и мать спасенного. Они не просто прибыли поблагодарить моего отца, а совершили старинный обряд, после которого мой папа стал их братом.

Дальнейшая жизнь подтвердила прочность этого родства. Когда в 1933 году погиб мой отец, его оплакивали не только мы, но и большая азербайджанская семья. Старший из братьев, Амирджан, стал проявлять о нашей семье по-настоящему отеческую заботу. Каждое воскресенье он приезжал к нам и привозил все, чем мог помочь в те годы. А мы тогда, после смерти папы, конечно же, очень нуждались.

Поэтому каждое лето Амирджан забирал нас с сестрой к себе в деревню, чтобы мы могли подкормиться и отдохнуть. Но помощь выражалась не только в этой основательной крестьянской заботе, но и в том, что говорил, советовал, чему учил меня этот благородный, добрый человек.

Тогда, в свой первый послевоенный приезд в Баку, я сразу же отправился к Амирджану, моему второму отцу. Ах, как много часов провели мы в наших беседах, каким теплом веяло от этого человека.

Да, я не сказал о самом удивительном в этой многолетней истории. Дело в том, что младший брат Амирджана Ага Хусейн, которого спас отец, умер от скоротечного туберкулеза спустя год после того случая на охоте. Думаю, что ледяная ванна тоже здесь сыграла свою губительную роль. Тем не менее смерть брата никак не сказалась на отношении семьи Амирджана к нашей семье. Такие замечательные люди они были.

Вот почему интернационализм для меня — это не тосты и лозунги о равенстве, братстве и нерушимой дружбе. Прежде всего, это хорошее отношение к конкретному человеку другой национальности, которое выражается в делах, поступках, доброжелательной улыбке, в верности общечеловеческим ценностям, которые в принципе одинаковы у любого народа, в любой религии.

Конечно, горько отмечать, что национализмом заболевают порой не только отдельные люди, но и целые государства. Я не говорю — народы. Именно государства, которые представляют конкретные политики. Вот они-то порой и мутят воду. Кстати, в том, что все мои родственники были вынуждены уехать из Азербайджана, тоже проявились националистические тенденции, которые сегодня, к великому сожалению, нередко берут верх в политических кругах стран Центральной Азии и Кавказа. Происходит искусственное выдавливание русскоязычного населения, высокопрофессиональных специалистов, некогда приехавших в эти регионы развивать производство, науку, образование.

У подобной слепой политики есть свои корни. Они лежат в нашем тоталитарном прошлом, подпитывая межнациональные конфликты до настоящего времени. Возьмите, например, репрессии против целых народов, проводившиеся в тридцатых-сороковых годах. Последствия массовой высылки «политически неблагонадежных» народов я ощутил уже в наше время, когда отдыхал в Кисловодске у своего друга. Мы поехали с ним в знаменитое Ущелье нарзанов. Там я встретился с одним чабаном, который предложил мне вспомнить детство и проскакать верхом на лошади. Потом мы разговорились.

Чабан оказался из некогда сосланной семьи, которую теперь вернули на Кавказ. Однако восстановление исторической справедливости больно ударило и по тем, кого когда-то выслали, и по тем, кто занял их земли и дома. «И они, и мы считаем себя хозяевами. Как так может быть? — вопрошал чабан. — Получается, что я на чужой земле пасту чужих овец. И это называется возвращение на родину!?»

Я не знал, что ответить.

Чуть позже, когда мы устроили привал, к нашему костру подъехал еще один всадник. Оказалось, местный объездчик. За трапезой он произнес следующий печальный монолог: «Это для вас Кавказ — курорт и отдых. А для нас — настоящий кошмар. Пока мы были в ссылке, где я и родился, наши старики только и говорили, что Кавказ — настоящий рай. Вот приехали. И что? Холодные бездушные горы. Работы нет. Там в ссылке у меня был дом, четыре коровы, я комбайнером работал. Никто меня не обижал, дети учились. А теперь что? Объездчик копейки получает. Больше в семье никто не работает. Не надо было стариков слушать, но у нас считается, что старшие всегда мудрее. А власть, которая разрешила возвращение, она подумала, кто и что нас тут ждет?..»

Такие вот печальные разговоры были у меня в прекрасных кавказских горах.

Сегодня о Леониде Ильиче Брежневе принято говорить с легкой иронией. Но ведь это именно он выразился о проблеме немцев Поволжья примерно так: «Вернуть, а куда? В тех домах живет не первое поколение людей, считающих эти дома и земли своими».

Он был прав.

Если уж наломали дров с выселением народов, то, наверное, надо понять, что есть вещи необратимые, что возвращение не должно становится насилием иного рода, приводящим к новым межнациональным, социальным распрям, дележам, выявлению, какой народ на том или ином клочке земли хозяин, а кто гость. А сегодня реабилитация народов оборачивается тем, что ингуш готов идти на осетина, крымский татарин на украинца. Если учесть, что интернациональным воспитанием сегодня в стране не занимается никто, а наиболее ретивые «патриоты» считают его вообще чуть ли не ересью, то мы можем дожить до ситуации, когда прежнее выселение покажется «цветочками», и события вокруг Южной Осетии уже нам об этом сигналият...

Утверждение национального превосходства за счет унижения инородцев, ксенофобия — страшные, опасные болезни, независимо от того, какой народ они поражают, малый или великий.

Причин возникновения националистического сознания не счесть. И значительную роль в их возникновении играет неправильная, неумная, топорная политика власти, которая часто прибегает к тому, к чему и экстремисты — к поиску простейших решений.

Но главное, что, на мой взгляд, лежит в основе любого экстремизма — экономика.

Уж я-то знаю, ничто так не унижает человека, не делает его скотом, зверем, как голод. Во владимир-волыньском лагере под огнем пулемета пленные советские офицеры ползали за картофельными очистками. Голод иссушает мозг человека, делает безумным.

Поэтому идея президента Путина победить бедность — это не просто стремление помочь тем, кто у нас еще голодает. Победить бедность — значит победить в людях злобу, зависть, стремление найти причину своих бед в других. Я, может быть, скажу странную вещь. Но когда к власти пришел Путин, я стал очень внимательно следить за его действиями и словами. И сейчас почти уверен, что он — человек, более одухотворенный идеями социальной справедливости, чем известные в стране коммунисты. Они — привычно про «антинародный режим», а он — про то, как все-таки жизнь улучшить. Его призывы, неустанные требования удвоить внутренний валовой продукт, развернуть борьбу с бедностью — это не только социальная политика, но и, уверен, идеологическая задача.

Потому что те же скинхеды — явление экономического порядка. Может быть, прежде всего — экономического. Если бы эти бритоголовые ребята имели возможность купить на том же рынке все, что продают там выходцы с Кавказа и из Центральной Азии, они были бы более великодушны к инородцам.

А приехавшие торговать эту бедность видят. Но нередко они сами своим снисходительным, скажем прямо, сытым поведением вызывают ненависть в неокрепших умах и без того неблагополучных подростков. А дальше дело только за идеологом, вожакom, который сумеет убедить в том, что все беды от «засилья черных», «жидов» и т.д.

Но беда-то в другом. И у меня есть свой житейский пример, доказывающий это.

У нас в Красногорске однажды случилась нешуточная стычка местных с торговцами из Азербайджана. Кавказцев прогнали из торговых рядов и продавцами стали «лица славянской национальности». Пришел я за картошкой и спрашиваю у одного из них: «Ну, как торговля?»

«Как! Кошмар! Подходит бритая шпана и требует платить налог за то, что дала нам место на рынке, защитила от азербайджанцев...

Им все равно, кто у прилавка — узбек, еврей, русский, главное, чтобы бабки отстегивал. А чем мне платить, если я еще ни черта не продал!»

Вот вам и спасение России, вот вам и борьба за чистоту крови. Своих, славян, они готовы обирать точно так же, как и «инородцев».

Поэтому и вывод мой таков: наладим жизнь, победим бедность, сразу исчезнут все комплексы, вызывающие ненависть и стремление к насилию. А когда будет повод себя уважать за то, что сделал, а не за «хорошую» национальность, тогда и другие найдут в нас достойных партнеров и друзей.

Но какие бы конфликты, споры ни возникали, я всегда считал, что наука, образование в конце концов сильнее любых политических решений. Впрочем, лучше не противопоставлять, а принять такую формулу: всегда выигрывает та политика, которая опирается на знание и просвещение.

Помню, однажды приехал я в Волоколамск, пришел к первому секретарю горкома партии Кузьмину Ивану Николаевичу и предложил организовать в городе учебно-консультационный пункт нашего института. «Таким образом вы сможете вырастить и закрепить свои технические и инженерные кадры», — сказал я партработнику, который хитренько так улыбнулся и ответил: «Я и так их закреплю. Сейчас вот разворачиваем жилищное строительство. К нам за новыми благоустроенными квартирами такие специалисты повалят!»

Встретились мы с Иваном Николаевичем через три года. Первое, что он мне сказал: «Как вы были правы со своей идеей. Квартиры я специалистам раздавал щедро. Но большинство из них, чуть-чуть поработав, использовало Волоколамск как стартовую площадку, а жилье оставалось их различным родственникам. Давайте, если еще возможно, вернемся к созданию учебно-консультационного пункта. Другого пути не вижу. Идея привязать человека квартирой. Какая-то она казарменная, что ли!»

Последняя фраза меня особенно порадовала.

Мало того, Кузьмин пригласил меня на партийный актив, дал возможность выступить и не побоялся признать собственную ошибку.

Пункт мы создали. Думаю, это принесло городу и его людям немало пользы.

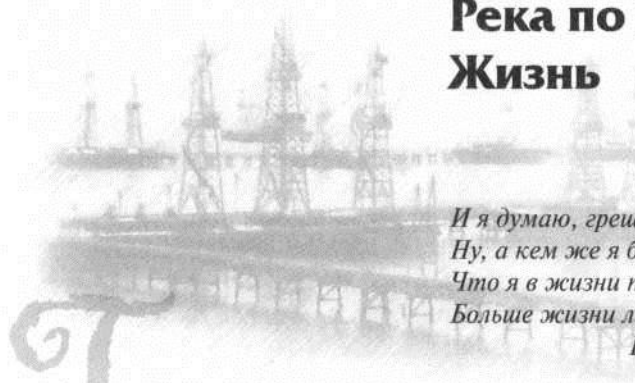
Потом такой же пункт я организовал в Истре.

Конечно, особую роль в закреплении кадров играет наше замечательное Подмосковье. Из того же Красногорска люди не хотят никуда уезжать. Москва рядом, при желании всегда можно в столицу по-

пасть на спектакль, выставку — куда угодно. В то же время жить в нашем районе, несомненно, лучше, чем в мегаполисе. А уж если и учиться можно, не мотаясь по метро или дорожным пробкам, то это вообще большая удача.

Если прикинуть, сколько вообще специалистов я помог выпустить за тридцать лет преподавательской работы, то наверняка получится цифра, за которую не стыдно. Но дело даже не в количестве. Куда бы в нашем районе я ни пришел или ни приехал, всюду встречаю тех, кто у меня учился. Многие из них — состоявшиеся люди, определяющие развитие промышленности, строительства, науки, образования, правопорядка в городах ближнего Подмосковья.

Мне греет душу такой патриотизм. На мой взгляд, Родина в большом, государственном, философском смысле этого понятия складывается из миллионов малых родин людей. Из мест, где у одного протекает река его детства, у другого растет дерево за окном, у третьего поют птицы в безбрежной степи. Без любви ко всему этому, без неброской, но честной работы по улучшению жизни в краю, где ты живешь, любые слова о патриотизме не стоят ничего, остаются пустыми и даже вредными лозунгами.



Река по имени Жизнь

*И я думаю, грешный, —
Ну, а кем же я был,
Что я в жизни поспешной
Больше жизни любил?..*

Евгений Евтушенко

Тагарин приехал в Баку спустя всего несколько недель после своего великого полета. Весь город вышел на улицы, по которым он проезжал. Среди тех, кто приветствовал героя, была моя мама.

Ей страшно повезло. Юрий Алексеевич проезжал мимо, стоя в открытом автомобиле. На шее у него был роскошный лавровый венок. Неожиданно один листик венка отделился и полетел над толпой.

И мама его поймала!

Она долго хранила его в семейном альбоме. Когда листочек был по неосторожности сломан кем-то из детей, мама заботливо сшила его. Сегодня он продолжает храниться в нашей семье как один из символов той долгой жизни, которую прожили вместе со своей страной мои родные и близкие. Среди памяток об этой жизни немало фотографий, с которых смотрят на моих детей и внуков красивые, молодые, полные сил люди, большинства из которых уже нет среди нас.

Но они были.

Они работали, учились, воевали, любили. Они строили эту страну и переживали вместе с ней все ее беды, трагедии, ошибки. Они

одерживали личные победы, которые становились завоеваниями всего народа.

Так уж устроен мир: зло, творимое в нем, всегда обрушивается на самых лучших, на умных, честных, благородных, смелых. Только жаль, что эти высокие качества мы открываем и признаем в них чаще всего, когда эти люди уже не с нами.

Но печаль утрат развеивается, когда смотришь на детей, внуков, на поколения, идущие на смену.

Мне нравится, что мои сыновья гордятся своей семьей, своим родом, что они охотно и увлеченно рассказывают о тех, кто составлял, укреплял и продолжал фамилию. А самое важное, я вижу, чувствую, что продолжаюсь в них сам.

Я доволен тем, что трое моих сыновей, Мартин, Виктор и Руслан живут в Красногорске, там, где родились, что двое закончили наш инженерно-строительный институт. Я рад, что они строят наш город. Строят по-разному. Если Виктор и Руслан занимаются практическим строительством, то Мартин как депутат Государственной думы, которому избиратели нашего округа уже второй срок доверяют представлять их интересы, делает все для того, чтобы в Красногорск шли инвестиции. И ему многое удастся, потому что в Мартине с самого начала его жизни я увидел два важных качества, характерные для тех людей из нашей родословной, о которых я рассказывал.

- Во-первых, он исключительно целеустремленный человек.

- Во-вторых, в нем живет неиссякаемая жажда знаний.

Недавно взял толстую пачку его писем. Он писал нам из армии, затем из военно-инженерного училища, в которое поступил. Как интересно читать письма ныне зрелого, состоявшегося человека, который в ту пору, по сути, только открывал жизнь. Мои личные открытия в свое время были окрашены в цвета войны, национальной трагедии. А здесь иное — мирное, доброе, смешное...

«Извините, что долго не отвечал на ваше письмо. Дело в том, что к нам в училище приезжал министр обороны маршал Гречко. Вначале, за неделю до этого, прибыли 7 генералов и стали наводить надлежащий воинский порядок. Семь ночей мы спали по 4-5 часов, а два дня не учились, а только работали.

Гречко приехал не один. С ним было человек 40 генералов и адмиралов. Мне теперь за всю жизнь столько власти не увидеть, министр обороны в двух шагах от меня! Вначале он обошел строй, затем сказал несколько слов, потом ему вручили подарок (макет моста из янтаря). Мы прошли торжественным маршем, министр и его сопровождающие сели в новые «Волги» и «Чайки» (их было штук 30) и с

бешеной скоростью укатили. Сейчас нас будут опять гонять: начальник училища получил кучу замечаний, правда, не от Гречко, который в принципе остался доволен, а от командующего округом. Будем устранять».

«Будем устранять» — это написано без всякой иронии. Он с молодости умеет устранять и чужие ошибки, и свои, никогда не настаивая на заблуждениях из упрямства.

Его принципиальность выражалась в другом. Однажды Мартин сильно напугал нас, родителей, бабушку и брата, когда в армии отказался выполнить задание. Правда, оно не касалось государственной обороны и вряд ли могло ее подорвать — он отказался укладывать и циклевать паркет на квартире у одного из высоких армейских чинов.

А в другой раз им был спасен один не очень высокий чин.

Это было в Литве. Подразделение, в котором служил Мартин, отправили на уборку свеклы. Но случилось так, что их командир, капитан, прибыл на сельхозработы, мягко говоря, не очень держась на ногах. Мартин попросил ребят спрятать капитана от греха подальше, надел его форму и пошел в правление колхоза доложить о прибытии. Когда ему сказали, что надо идти на совещание к вышестоящему армейскому начальнику, так сказать, главнокомандующему по свекле всего района, пошел, посоветовался и вернулся к сослуживцам с четким заданием.

Редкое письмо обходилось без просьбы ко мне выслать ту или иную книгу.

«Планы у меня грандиозные, дай бог, чтобы они осуществились. Работаю сейчас над несколькими темами, каждая из них на уровне переворота в технике. Это, конечно, шутка, но с долей правды. Идей хватает на целый НИИ, но не хватает знаний и конструкторских навыков».

Папа, я жду от тебя книг, по последнему списку, который я выслал. Еще достань, пожалуйста, книгу Власова «Тонкостенные упругие стержни». Кстати, можешь задать своим студентам задачу. Дана пружина с параметрами...

...На днях на лекции по сопромату у меня вышел спор с преподавателем. 20 минут часа на лекции дискутировали и 2 часа после. Зашли в дебри математики и вместе оттуда выбирались. Я даже на обед не пошел. В конце концов прав оказался я, хотя в некоторых частях малость заблуждался, но преподаватель не обиделся, мы с ним чудесно поговорили...

Короче говоря, времени я здесь даром не теряю. Мечты у меня одни — скорее окончить институт и учиться на математических кур-

сах. Рвусь туда, как Мария Кюри в Сорбонну. Кажется, забросил бы все и учился, учился, учился. Но, конечно, это не самоцель, хочется работать по-настоящему над интересной темой, а то сейчас тычусь туда-сюда, как слепой котенок.

Без знаний нынче некуда. Вот и тебе, Виктор, наука. Будешь учиться — будешь телескопы конструировать, а если кое-как — придется только стекла шлифовать. Тоже, конечно, работа, но не такая творческая».

Из этих строк видно: Мартин не только был сам увлечен учебой, научной работой до такой степени, что стал победителем международных олимпиад, но и постоянно помогал своему младшему брату, который в то время учился в школе и готовился в институт. Виктор получал от него задания, выполнял их и посылал по почте. Но кроме разговоров о предметах старший брат постоянно вел с младшим беседы о жизни. Это сегодня звучит, может быть, даже наивно, трогательно, но наставления эти написаны искренне и с большой любовью к брату, судьба которого его всегда волновала. Мартин вообще относился и относится к нам всем очень нежно и бережно. В одном из писем той поры я нашел такие строки.

«Мне почему-то вспомнились слова одной из моих учительниц. Когда я учился в 10-м классе, она рассказала мне: «Я шла по платформе и увидела твоего папу. Лицо у него необыкновенно светилось, а глаза были слегка влажными. Я спросила, что случилось, и он ответил, что сбылась его мечта, у него родился сын».

Так вот, я сейчас сижу и думаю: знал бы ты, папа, тогда, какое чудо у тебя уродилось и сколько разочарований и волнений оно тебе принесет.

Я еще удивляюсь, как вы мне верите, по всем моим представлениям ваше терпение давно должно было лопнуть».

Со стороны может показаться, что речь идет об ужасных проступках, об окончательно запутавшемся в этой жизни молодом человеке. На самом же деле Мартин в то время стоял перед выбором — продолжать ему военную карьеру или заниматься наукой.

В итоге он сделал довольно решительный выбор. Оставил службу, начал работать в Институте космических исследований, занимался проблемами посадки наших беспилотных аппаратов на Марс и Венеру. Это было связано с романтической эпохой освоения космоса. Меня это время тоже задело. Горжусь тем, что помогал строить на Байконуре музей Королева, куда мы ездили не раз вместе с Мартином.

Но космос сына долго не удержал. Как-то в одной из статей он сам написал, почему больше всего ему (как и младшему брату) нра-

вится строительство. «Потому что быстро виден конкретный результат. Жилой дом, заводской цех, железнодорожный мост. А что может радовать больше, чем зримый итог твоих усилий».

Думаю, такова романтика людей технократического склада ума. По сути, я и сам такой. Поэтому к выбору моих сыновей отнесся нормально. А когда Мартин занялся политикой, тоже не удивился. Несмотря на то, что он избирался в депутаты Госдумы от округа, баллотировался в президенты России в 1996 году — а это требовало широких публичных выступлений, как мне кажется, ему ближе политика не громкая, не площадная, а та, которая требует расчета, анализа, глубокий знаний. Поэтому вполне логично, что Мартин увлеченно работает в Госдуме председателем комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

Это его Байконур.

...Дом, в деревне Павшино, где я сейчас живу, смотрит на Москву-реку. По огороду можно пройти к мосткам над водой и забросить удочку. А можно просто сидеть и смотреть на реку. Она в этом месте широка и сильна. На другом берегу стоит красавец-лес, а еще дальше протекает скоростное шоссе, по которому стремительно несутся машины.

В этом пейзаже слито прошлое и настоящее. Река — это неспешное течение исторического времени. Дорога — стремительный бег сегодняшнего дня. Глядя на это, невольно задумываешься о том, что есть миг жизни, а что есть вечность. О том, как жизнь коротка, трудна, трагична. И о том, как она прекрасна, когда окрашена различными смыслами, чувствами, целями. Эту окраску жизни придают не деньги и не вещи. И даже не природа.

Люди, которые проживали с тобой когда-то и которые окружают тебя по сей день, — вот главное, что составляет краски жизни и цвета твоей собственной личности.

Когда я писал эти воспоминания, я, наверное, не упомянул многих из тех родных и близких, приятелей и друзей, которые заслуживают и того, чтобы о них рассказать, и того, чтобы сказать им «спасибо». И я благодарю всех названных и неназванных.

Работая над рукописью, я прочел очень много стихов разных прекрасных поэтов. Просто мне хотелось, чтобы они (а в основном это мои современники) были рядом со мной в этой скромной книжке.

В 1942 году под Вязьмой погиб малоизвестный поэт Вадим Стрельченко. После него осталось удивительное стихотворение, которое называется «Моя фотография». Вот лишь некоторые фрагменты, отражающие суть:

*Я с удивлением гляжу на свой портрет:
Черты похожи, а меня и нет!
Со мной на фотографии моей
Должны бы сняться тысячи людей,
Людей, составивших мою семью.
Пусть мать качает колыбель мою!
Пускай доярки с молоком стоят,
Которое я выпил год назад...
Явитесь, хохоча и говоря,
Матросы, прачки, швеи, слесаря.
Без вас меня не радует портрет:
Как будто бы руки иль глаза нет.
Учителя, любившие меня!
Прохожие, дававшие огня!
Со мною вы. Без вас, мои друзья,
Что стоит фотография моя!*

Как это понятно мне, почти в три раза пережившему погибшего поэта.

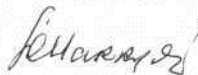
Сколько прекрасных людей было в разное время вокруг меня.

Еще раз спасибо всем, кто в разное время был, есть и, надеюсь, еще будет в моей жизни. Она была долгой, трудной, порой трагической, но, я уверен, — далеко не бесполезной.

Я смотрю на сильную и мудрую реку, которая столько видела и столько знает. Мне кажется, что в плеске воды, таком разном и всегда завораживающем, то и дело звучит чей-нибудь знакомый голос.

Конечно, это мне кажется. Просто это такая память сердца и не более того.

Но мы еще встретимся, дорогие мои!



Ваш
Люциан Шаккум

Шаккум Люциан

ПОЕЗДА МОЕЙ ПАМЯТИ

Литературный редактор Б. Андреев
Корректор И. Лагутин
Художник А. Мальков
Верстка Е. Гаврикова

Подписано в печать 22.10.04
Формат 60х84^{1/16}.
Гарнитура NewtonC. Усл.п.л. 8.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 828

Отпечатано в типографии «Лига-Принт»
Москва, 12-я Парковая, 11/49

